

Олег Левитан

Дорожное эхо Стихи разных лет

«Геликон Плюс»
Санкт-Петербург · 2015

УДК 82.32.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
Л 36

Левитан О.

Л 36 Дорожное эхо. Стихи разных лет. (Серия «Петроградская сторона».) — Санкт-Петербург, «Геликон Плюс», 2015. — 252 с.

ISBN 978-5-

УДК 82.32.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Художник ???

*Книга издана при поддержке министерства культуры
Российской Федерации и Союза писателей Санкт-Петербурга*

ISBN 978-5-

© Левитан О., текст, 2015.
© «Геликон Плюс», макет, 2015.

Морские сны



Остров Буян

Нету острова Буяна...
Море есть, и — верь не верь! —
знаю я в том окаянном
море каменную твердь.

Не палят с утеса пушки.
Не спешит заморский гость.
Только клочья мхов разбухших
да маяк торчит, как гвоздь...

Чайки кружат неустанно.
Ветры — с четырех сторон.
Ну скажите, — чем Салтана
удивить здесь мог Гвидон?..

Нету острова Буяна!
Но живет еще пока —
вечно злой и полупьяный —
самодержец маяка.

У него щека колюча.
На фуражке «краба» след.
Он с утесом неразлучен
не один десяток лет.

Мы с ним выпьем по стакану,
я скажу, багров как рак:
«Нету острова Буяна!»
Он ответит мне: «Дурак!..»

1969

Кладбище судов

В затоне
Турухтанного ковша,
на питерской окраине унылой, —
они лежат, уткнувшись в берег стылый,
на глину струпья ржавчины кроша...
Спят, не дождавшись доков и верфей —
морской буксир, и баржи-самоходки,
и сухогруз, и целых три подлодки,
и рыжий сейнер с именем Орфей...

Здесь камыши всё выше с трех сторон,
чтоб со своим уроном каждый свыкся,
и сторож — как отставленный от Стикса
по старости и немощи Харон;
здесь сквозь туман слышны издалека
гудки судов, что уплывут далёко —
а кладбище молчит во сне глубоком,
лишь при гудках вибрирует
слегка...

1982

Портрет рыбака

Рыбак пирует в ресторане «Нарва».
Он с рейса только что, и потому —
какая-то, я извиняюсь, лярва
без клея плотно клеится к нему!

С такою-то, я извиняюсь, рожей!
Да он женат, какого ей рожна?
Но так и льнет, зовет его Сережей,
хоть звать Сергей Аркадьевич должна!

А он и рад, что все идет — как надо,
что деньги есть и не о чем тужить!
И лучший вытрезвитель Ленинграда —
готов его принять и обслужить.

Морских трудов у трапа скинув глыбу,
он хвастает, как в голубой дали —
полгода целых честно шкерил рыбу!
— А вы бы там и дня бы не смогли!

А вы бы там, чем окунь хуже хека,
узнали бы, попробовав хоть раз,
как от шипов ладони человека
становятся размером с ваш анфас! —

И кажет всем корявую десницу,
и жаждет понимания в ответ,
и мимо проходящую девицу
протяжным взглядом долго греет вслед...

Но должного вниманья нет к беседе.
И он, отметив это, смотрит зло...
И на него с опаскою — соседи.
И лявву ту — как ветром унесло.

И он встает, оркестру величаво
заказывает песню: «Про звезду!»
И верный руль закладывает вправо,
роняя стул и фикус на ходу!

И — в ночь, в такси! А там — тепло и просто...
И клонится — к таксистову плечу.
— Куда поедem, дядя? Где живешь-то?
— Домой не надо! На корабль хочу!

И едет в порт, разбрызгивая лужи, —
вдоль речки, стройки, пустоши ночной...
И коньячок значатый поглубже
припрятывает перед проходной!

И выглядеть старается поостроже,
хоть в нем уже чуть теплится душа...
И, как четыре ангела, к Сереже —
по трапу вниз слетают кореша!

А он покочевряжится, с минуту,
и вот уже — блаженный и ничей...
И — ввысь его, во тьму его, в каюту!
Подальше от старпомовских очей...

1986

Корректор штурманских пособий

Страничку поправок держа под рукою,
корректор склонилась над картой морскою —
гуляет весь день по морям и проливам
ее карандашик в труде кропотливом...

Такая работа, такая забота —
следить, чтобы там не случилось чего-то,
чтоб штурман готов был к любому сюрпризу!
Я отблеск волны на щеке ее вижу...

Я вижу, как море сквозь пальцы проходит,
когда она крестик кружочком обводит.
Скользит вдоль Шотландии, локтем примятой,
русалочий взгляд ее зеленоватый...

И сам я не прочь оказаться в том море,
в значками размеченном пенном просторе —
на палубе шаткой, соленой и рыжей,
лишь только б к руке смугловатой поближе!..

Все так бы и было — когда б не опаска,
что плаванью будет помехой огласка,
когда б не кольцо, что уютно и зыбко
на пальце блестит — золотое, как рыбка...

1978

Нулевой меридиан

С растяжкой, как мелкий интриган,
четвертый штурман рявкнул по трансляции:
«Проходим нулевой меридиан!
Желающих — прошу полюбоваться!..»

Ах, штурман, ах, шутник!
Однако все,
кто в первый раз, пошли смотреть на море —
просторное, шумящее в мажоре,
пустынное во всей своей красе...

И все-таки какая-то черта
была — и ощущалась, словно мука,
ведь наступала долгая разлука,
любим былым разлукам не чета!..

И думалось — зачем плывем, куда?
Быть может, не вернуться никогда нам!
Быть может, мы исчезнем навсегда
за этим нулевым меридианом!..

Но «старики» сражались в домино,
плюя на эти шутки и печали...
Они черту прошли, и так давно,
что вообще ее не замечали!

1973

Море

Вдохнулось мне. Вдыхает море.
И я подумал с тихой нежностью:
у нас полнейшая гармония,
у нас созвучье душ полнейшее.

Проснешься утром — и потянешься.
И море — вширь — на полпланеты.
И нет ему нигде пристанища.
И мне нигде покоя нету.

По десять раз в любую сторону
меняем за день настроение.
И — то ему тепло, то холодно,
и мне — то сине, то сиренево...

1973

Айсберг

Подобный
божьей каверзе,
возник он — не таящийся,
от нас на правом траверзе
все выше становящийся,
раскачанный, как маятник,
в ручьях весь, будто с насморком —
не айсберг, Айсберг-памятник
всем неизвестным айсбергам!..

Его друзья-приятели
давно азарт оставили,
давно за ним в кильватере —
отстали и растаяли...
А он маршрутом странников
плывет, волну ворочая —
титан, гроза «Титаников»,
и прочая, и прочая!..

На юг, в края беспечные,
на все деньки остатние...
— Эй, мореходы встречные,
вы там поаккуратнее!
И повстречав нечаянно
среди тумана ватного,
не трогайте молчания —
его, зеленоватого...

1973

Первый трал

Пришли под вечер.
Океан роптал —
и нервничал, и не скрывал волненья...
А утром мы подняли первый трал —
событие не хуже дня рождения!

И — рыба, рыба!
Целых десять тонн!
Считать на всех — по сто кило на брата...
Вот *окунь* – пучеглаз, как император.
колюч, как еж, и красен, как пион...

Грозил пастью — каждый зуб кинжал!—
пятнистая, как леопард, *зубатка*...
И *палтус*, сдвинув глазки, возлежал —
и было видно, что ему не сладко...

А вот *налим*, как тот казак в загуле —
усаами тряс, искал себе врага...
Сверкала *сельдь*, но *сельдяной акуле*
был свет не мил и жизнь не дорога...

Морской карась, как рекрут от тоски,
то взбрыкивал, выскакивал из массы —
то замирал по струнке, у *трески*
приметив генеральские лампы...

А вслед *макрурус* хвостиком мотал,
мерцал огромным красноватым оком...
И снова — *окунь*,

окунь,

окунь,

окунь!

Я брал его и в противни кидал.

...В цеху аврал — мельканье лиц и рук.
Сосед под ноги сплюнул папироску:
— Прости нас, рыба!

Вот он, твой каюк, —
тележку повезли на заморозку!..

1973

Перед утренней вахтой

Любезные товарищи мои
(пока во сне — за сотни миль отсюда
я находился, счастлив, словно бог,
и только одного боясь — проснуться),
любезные товарищи мои
(пока во сне — дыханье затаив
и очутившись в комнате ее,
садился я на краешек постели),
любезные товарищи мои
(пока во сне — поправив одеяло,
я на нее, уснувшую, глядел
и имя Оля с нежностью шептал),
они в ночи, не ведая печали —
там, на корме, в свету прожекторов! —
трал ставили, курили, ожидали,
прикидывали в мыслях свой улов...

Уже динамик прямо в мой эдем
транслировал: «Давай, помалу вира!
Еще помалу!» — словно тралом тем
зачерпнуты сокровища полмира...
Я просыпался...
Открывались взору
каюта, ночь, блеск моря,
а потом —
рыбмастера шаги по коридору
и шепот в дверь:
«Эй, корефан, подъем!..»

1973

* * *

Не спали Рекс и капитан-директор Волков...
Не потому, что был поставлен трал, —
пес из каюты смылся в самоволку,
а капитан бессонницей страдал.

Был ночи третий час. Была путина.
И с мостика — и справа, и левой —
одна и та же виделась картина:
мерцающие грозди кораблей...

И думал капитан: «Вот жизнь собачья!
За рыбой вслед по миру беготня...
Полжизни морю отдал, а на сдачу —
за всю-то жизнь два-три счастливых дня!..»

И думал пес: «Скучища — нету мочи!
Вода, железо — нюху б не пропасть...
Эх, нет луны, а то бы взвыл по-волчьи
так, чтоб сводило судорогой пасть!..»

Так думали они в печали странной...
Рекс почему-то вспомнил, как щенком —
он бабочек ловил...

А капитану —
припомнился Саратов, детский дом...

Потом Рекс спать пошел.

За ним и Волков.

...И только окунь, где-то под водой,
от трала убежал и втихомолку —
печалился о жизни прожитой...

1973

Промысловая баллада

Тралмейстер и штурман — вот главные на корабле,
и каждый из них сам себя полагает главнее! —
когда стая скумбрии в синей нащупана мгле
и трал нараспашку все ближе крадется за нею...

Вы скажете: штурман! Он долго смотрел в эхолот,
он рыбный косяк раньше всех опознал на экране!
Два дня нет улова, и вот — разворот и заход,
и всё как по нотам — при этой волне и тумане...

Но разве тралмейстер, сам лично поставивший трал,
поставивший на кон пятнадцатилетний свой опыт, —
на траловой палубе зря свою вахту гонял?
Пусть голос пропит у него, но талант-то не пропит!

А там, в синей мгле — от просторного трала на шаг, —
где сытный планктон пожирает родимая стая,
в своих эмпиреях витает скумбрийный вожак
и мощным хвостом вправо-влево поводит, витая...

Он тоже не промах, поскольку был глупым мальком,
когда был матросом тралмейстер и штурман курсантом,
а нынче он с жизнью на собственной шкуре знаком —
и это знакомство сравнимо с чутьем и талантом!..

Едва ли он знает, что гибель спешит по пятам,
что волны шумят наверху, как галерка в театре,
что хищные боги к добыче готовятся там,
мечтая, чтоб сразу — и вахты на две или на три!..

Но если сейчас он опасность — учует, узрит,
то вся его стая любое движение разом
мгновенно и точно вослед вожаку повторит!
И эта готовность не меньше, чем опыт и разум...

...И штурман, тревожась, меняет — то скорость, то курс.
И шупает тросы тралмейстер, покоя не зная...
У скумбрии этой — и стоимость выше, и вкус, —
но рыба она мускулистая и скоростная!

И чайки кричат, мельтеша за кормой невдали,
и крик их подобен то смеху, то бабьему всхлипу!
И громко железом в железо стучат кухтыли —
когда наш улов наконец выползает по слипу!

Огромный сачок, стометровой — не меньше — длины!
И если бугрится лишь в самом конце и не туго —
нет мыслей мрачнее и жарче, которых полны
тралмейстер и штурман, что молча глядят друг на друга...

1978

Акула

Мы выловили крупную акулу,
а думали, что скумбрии косяк.
Акула побрыкалась — и заснула,
издохла, значит, так ее и сяк!..

И сразу на корме, как в зоопарке —
толпа, и негде яблоку упасть,
и кто-то там пихал акуле палку
в свирепую ощеренную пасть.

И целясь в наши бронзовые скулы,
бесстрастно щелкал аппарат «Зенит» —
старпом, матрос-лебедчик и аку́ла;
аку́ла и котельный машинист...

А боцман — точно рыцарь из Ла-Манчи,
тощей мужик лет сорока семи, —
акулу оседлав, упрямо клянчил:
— А ну, а ну, вот так меня сыми!

Сквозило. Вечерел в сторонке айсберг.
Рыбацкий пес привычно блох искал.
И капитана молчаливый абрис
уже не раз на мостике мелькал...

И уделив потехе час, не боле,
решив убрать все лишнее с кормы,
чудовище смайнали тросом в море:
Плыви, мол, остальных акул корми!..

И вдруг с веселых лиц улыбки сдуло,
и боцман, оглянувшись, побледнел:
акула — наша дохлая акула! —
вильнув хвостом,
исчезла
в глубине...

1974

Монолог рыбака

И рыбы нет. И нет покоя
в одном из пасмурных морей.
И на душе моей — такое!
Такое на душе моей!..

Еще вчера под рев лебедки
тралмейстер матерно орал —
килограммовые селедки
в гостеприимный лезли трал!..

Еще вчера я шел вразвалку,
в столовой жадно пил компот,
и мне официантка Валька
тайком сказала, что — придет!

Еще вчера все было просто...
Зато сегодня все не так!
Тралмейстер, злясь на все расспросы,
показывает всем кулак.

И чаек нет. И море стирку
затеяло. Нависла мгла.
И трал пришел пустой, как дырка...
И Валька так и не пришла.

1975

Фамилия

Фамилию известную ношу,
и многим не дает она покоя.
— Не родственник ли? — Нет, — произношу
с привычным сожаленьем и тоскою.

Но вижу, что не верят все равно,
подозревают, что в родстве повинен —
и с живописцем, умершим давно,
и с диктором, что памятен донине...

Товарищи, я к вам без дураков,
вопрос закрыт, и все намеки — всуе!
Я сам с усам и с помощью стихов —
сам говорю и сам живописую!

Вопрос закрыт, но с должной прямоотой
сквозит за ним вопрос национальный!
У нас тут в море трал пришел пустой —
причиной объяснен оригинальной.

Сгибая пальцы, сам из вологжан,
виновников подсчитывал Петрович:
— Левицкий в рубке! В цехе Миттельман!
Плюс Левитан, Исаков, Абрамович!

— Постой! Ведь Абрамович — белорус,
Исаков — русский, да и я — из псковских!..
— Из псковских, говоришь? — и крутит ус. —
Брось парень, брось, видали мы таковских!

Когда же штурман поднял полный трал,
Петрович сам, хлебнув чайку из флаги,
весь в чешуе, на палубе орал:
— Ух, молодцы евреи, молодчаги!..

И греб треску лопатою в «карман»,
а там, внизу, где каждый одинаков,
ее пластали все — и Миттельман,
и я, и Абрамович, и Исаков!..

И вот что я подумал: вся беда —
не в нациях и не в утятах гадких,
а в том, что нет условий для труда,
зато полно проблем и недостатков!

А если дело спорится, ей-ей! —
в любом занятии никому не тесно,
и там не важно — родственник ты чей,
да и в анкету лезть не интересно...

1981

* * *

Когда шторма швыряют судно
то в небо, то наоборот,
когда не то что неудобно,
а просто оторопь берет,
и твой сосед лежит в каюте
чуть жив, лицом бледней, чем мел, —
он шел в моря, чтоб выйти в люди,
он еле в койку влезть сумел! —
тогда и ты в тоске безмерной
сидишь, кляня весь белый свет,
и в рундуке рукой неверной
ища спасательный жилет...

Но перевернута страница!
И, от хлопот отяжелев,
утихнет шторм, уgomонится,
вернет на место дымный шлейф!
И вот уж ночь с зарей толкуют
о видах завтрашнего дня,
и волны из одной в другую —
переливаются, звеня...
И отпихнув жилет дурацкий,
ты выйдешь вновь на белый свет,
и он прильнет к тебе по-братски —
он слов твоих не вспомнит, нет...

1975

* * *

Процессы облакообразования...
Вот, от старпома выйдя, зол и хмур,
на палубе присел Калугин Ваня,
и закурил, и горестно вздохнул...

Вот вздох его, в полете обрастая
парами, что вздымаются от вод —
то уплотняясь формой, то тая —
степенно покоряет небосвод...

И вот уже плывут к востоку тучи —
лиловые от Ваниной тоски!
...Его б ругать помягче да почутче,
глядишь, и дуться было б не с руки...

Любимая!

Мне было не до шуток,
когда, во сне про прежнее жите,
я снова вспомнил — через столько суток! —
внезапное замужество твое...

Вчерашняя моя!

Позавчерашней
среди штормов и штилей становясь,
о, согласись, нет ничего пустяшней,
чем та меж нами тинькнувшая связь!

И этот сон — все дальше, все забытей...
Но грустно мне, не знаю отчего.
И облака плывут в твоём зените —
рожденные от вздоха моего...

1974

Волна

Сегодня нам не выспаться опять!
Сегодня вновь откуда-то с востока
пришла голубоокая морока,
пришла — взметнулась звонко и высоко,
в иллюминатор глянула — и вспять!..

Мы — с вахты. Мы на отдыхе — вдвоем.
Сосед свой тельник порванный заштопал
и влез в постель свою, как в пробку штопор.
Какой-то слон по палубе протопал —
не иначе, как камбузник с ведром!

А гостя стонет, бьется о стекло,
как будто молит: «Люди! Бога ради!
Смотрите, у меня седые пряди!
Я потеряла путь к моей отраде,
и сердце мое горем истекло...»

И вспомнился старинный тот сюжет...
И я подумал: вдруг она — Ундина!
Но что Гульбранду рыбная путина,
Здесь, в Лабрадоре, нынче холодина,
а рыцарь и Бертальядою согрет!..

Но прав Жуковский — бедная волна!
Так лишь любви пропавшей ищут — где ж ты? —
в отчаянье, граничащем с надеждой,
в какие бы ни пряталась одежды
и в ком бы ни была воплощена...

Летит волна. Волнует и томит.
Мешает спать. И думать над тетрадью.
И так звенит, в каюту нашу глядя,
что и сосед, выдавший виды дядя,
бормочет сонно:
— Что? Никак штормит?..

1975

Баллада о лошадях острова Сейбла

На Сейбле — песчаном клочке с океаном вокруг,
который шалее при виде песчаной земли, —
в бинокле возникнут косматые лошади вдруг...
Когда-то мы — люди — с собой их сюда привезли.

Но люди горазды раздоры чинить меж собой!
И вот учинили — и шустро взялись за ножи,
и пули над островом пели про смерть вразной...
Кончаются плохо во все времена мятежи.

Кто смог, тот отчалил с проклятьями на материк —
за новой судьбой, поцелуями, дракой, тюрьмой.
Последняя пуля в последний отчаянный крик
поставила точку — и остров исчез за кормой....

Кто знал, каково им, гривастым, оставшись без нас —
в суровые зимы, в штормах и туманах подряд! —
сбивая копыта, к траве пробиваться сквозь наст
и брюхом мохнатым стараться согреть жеребят?

Но выжили лошади — трудностям всем вопреки!
Росло поголовье, хоть пастбищ не сыщешь скудней.
Чуть стали приземистей, но быстроноги, легки —
и долгое время совсем не боялись людей...

И если швыряло разбитый корабль на песок,
и спасшийся некто — истерзанный, в смертных слезах! —
в себя приходил, он готов был поверить, что Бог
на лошадь похож, что склонялась над ним в небесах...

1975

Баня

В банный день,
в день, праздничный по сути, —
через борт! — ликующим пластом
с тяжким гулом плюхнувшись на юте,
мир затмив, разбив стакан в каюте,
нас настиг южнее Сейбла шторм...

И опять — удар и шум обвала!
Но всего сильнее — в третий раз...
Взвился вал — темно и небывало,
и когда махина миновала —
двигатели смолкли, свет погас!

Взвился вал — потряхнул, шарахнул, вздыбил!
Развернул с востока нас на юг!
Что-то там замкнул, сломал и выбил...
И тогда рыбацкая погибель
смутно замаячила вокруг...

— Эй, в машинном! Что там, нет ли течи?
Что там в рубке, в чьих руках штурвал?
...А в ответ, мурашками на плечи,
на нечеловеческом наречье
кто-то что-то в «спикер» прорычал!..

И понять не в силах слов значение
и поганный чужой оборот,
похватав жилеты без смущенья,
побежал, средь качки и вращения,
к трапу верхней палубы народ!

Вот кто был не в курсе однозначно —
в баню влезший раньше всех на час,
веничком напарившийся смачно!
И сказал матрос-лебедчик мрачно:
— Потерпи,
домоешься сейчас!..

И так странно,
 что под этот хохот
вдруг возникли снова свет и связь!
И в машинном — двигателей рокот
стал расти, вплетаясь в шторма грохот!..
И гибель мимо пронеслась.

32

Мы видели — как солнце багровело,
снижаясь над блестящим горизонтом,
и птица-чайка с криком то и дело
металась над снижающимся солнцем...

Как перст судьбы над дымкою лиловой,
до самого зенита восходящий,
как меч Господень, страшный и суровый,
неведомо кому еще грозящий!..

Секунды шли. А чудо длилось, длилось...
Луч словно оплавлялся у подножья...
Как если бы сменился гнев на милость
и лезвие меча влагалось в ножны...

И всё. И только волны небо лижут.
И нам пора в столовую на ужин...
Я перерою уйму умных книжек —
ища ответ, который мне не нужен:
дисперсия...

эффекты...

И сон придет — цветной, необычайный.
И чей-то голос скажет с грустью:
 «Эх, ты!
Ну кто́ мы есть, ну что́ мы есть — без тайны?»

1975

Вельбот

Вчера пришвартовались к плавбазе для сдачи рыбы. А сегодня нас попросили врачей с плавбазы на траулер «Берилл» перевезти, там у рефмашиниста аппендицит, что ли...

Из дневника

И было так: держа коробки, склянки,
врачихи бодро влезли в наш вельбот.
«Стажерки, — я подумал, — практикантки», —
и отдал гак, и рядом сел на банке...
Мотор чихнул, и мы пошли вперед.

А в океане при такой погодке —
на гребни волн смотри да не зевай!
Нас тут же и хлестнуло посередке,
промокли их ажурные колготки...
Одна сказала: — Ой! — другая: — Ай!

— Ой, мальчики, какой ваш катер старый!
— Он не утонет, этот драндулет?
— А вас как звать?

— Нас Таней!

— Нас Тamarой!

Блондинке Тане шел румянец алый...
И молодые обе — наших лет.

И штурман наш, окидывая дали
суровым взором и пожав плечом,
велел, чтоб им брезент — укрыться — дали,
ему мешали женских тел детали...
Кто был в морях, тот знает, речь о чем!

Когда ты пятый месяц в этой качке,
и не женат, и не анахорет,
и никогда к буфетчице иль прачке
не скребся в дверь с бутылкой из заправки —
колготки видеть трудно, спору нет...

И он рулил, с волнами в поединке —
то падал в бездну, то вздымался ввысь!
Но от румянца дивного блондинки —
в его глазах растаявшие льдинки
горючим карим пламенем зажглись...

И он уже шутил с ней то и дело,
и говорил «аймсори», и она —
склонив лицо, смущаясь до предела,
во все глаза на штурмана глядела,
красой и мощью всей потрясена!

Вот, Господи, любви счастливый случай,
вот двух сердец стремительный привет!..
И долго руль скрипел в руке могучей,
ведя вельбот к разлуке неминуемой —
на траулера ржавый силуэт!

...Со стороны подветренной причалив,
мы помогли на трап им перейти.
И вот уж нам «спасибо!» прокричали,
и каблучки все выше застучали...
А мы смотрели, Господи, прости!

Потом назад поплыли, как в тумане,
и только штурман произнес: — Ну вот...
Что означало: в этом океане —
в сердечном плане и в лечебном плане —
одним аппендицитчикам везет!

1975

Мертвый штиль

В вечерний час на океан —
пока он мертвым штилем пьян —
тьма налагает свод небесный...
И долго стынет шов сварной
над непомерной шириной,
объединяя бездну с бездной...

И Млечный Путь макает хвост
в наш пенный след, и стаи звезд,
как рыбы, плещутся в глубинах...
И спутник или сателлит —
один летит через зенит,
как дух на крыльях голубиных...

Летит над нашим кораблем,
зовет немеркнущим огнем,
чтоб весть о нем в сердцах несли мы...
И все созвездья, там и здесь,
безмолвно шлют друг другу весть —
и те, что есть, и те, что мнимы...

Чтоб в одиночку превозмочь
такой простор в такую ночь —
скажите нам, яхтсмен Чичестер,
надежно ль в лодке быть должны
снаряжены, закреплены —
компас, и весла, и винчестер?..

И ты — на палубе ночной —
будь рад, что чувствуешь спиной
жизнь за стальной переборкой!
Но вправду ль есть она?

Проверь!

И если вдруг заклинит дверь —
молчи,

не торкайся,

не шоркай!

Ты здесь никто и звать никак,
и — если этот звездный мрак
не заалееет на востоке! —
здесь делать нечего уму
здесь даже зренье ни к чему,
и сердца стук,

и эти строки...

1976

* * *

Луна Бристольского залива в сентябре
подобна фее — в жемчугах и серебре.
Светло глядит на нас — сквозь радуги кольцо —
ее прекрасное и грустное лицо.

Она владеет небесами третью ночь.
Она готова заблудившимся помочь.
Она царит, и нет ей дела до парней —
свои подошвы отпечатавших на ней...

А под Луной порхает, балуясь, Эол,
несет на юг, на полуостров Корнуолл —
дыханье вереска и волн хрустальный плеск
вдоль черных скал на полуострове Уэльс.

И сам залив не спит под нашим кораблем —
то плещет жемчугом, то блещет серебром.
И стаям рыб из глубины в лучах Луны
и трал, и траулер отчетливо видны...

1975

Кот на траулере

В сушилку брошен мокрый фартук.
С рук смыты чешуя и слизь...
Перекурили после вахты —
и по каютам разошлись.

А корабельный кот Максимыч,
всю вахту бывший не у дел,
ворочал шею массивной
и на коленях не сидел.

Он поводил роскошным усом,
и громко фыркал, осмотрясь,
и мягкой лапой трогал мусор,
и долго мягкой лапой тряс.

Когда ж я вновь метелку прятал,
мурлыкал кот — похвально, мол! —
и шел глядеть в иллюминатор
на полуостров Корнуолл.

Как будто те дома и шпили,
венчая сизые холмы —
ему такое говорили,
чего совсем не знали мы!

И так глядел зеленооко,
что робко думалось о нем:
«Что ищет он в стране далекой,
что кинул он в краю родном?..»

1975

Элегия

О чем грустят вечерние моря
в тот час, когда к волнам прильнет заря
и сумерки сиреневой ордой
с востока вскачь несутся над водой?

Они грустят о спелых облаках,
с оранжевым свеченьем на боках,
о звездах, еле видимых сейчас,
что будут падать в волны через час...

Грустят о Геркулесовых столбах,
о морях с усмешкой на губах,
о кораблях, что спят на дне морском,
задушенные илом и песком...

Об оскуденье царств подводной мглы,
о рыбе, что вылавливаем мы,
о той, что мы увозим навсегда —
в прожорливые наши города...

Плывем.

А грусть простерлась —
над кормой,
над рубкой, над лебедкой якорной...
И над трубой летит сквозь дымный чад...
И чайки — параллельно ей летят...

1974

Эльсинор

Еще вчера нас колошматил норд,
но плыть проливом Зунд — волшебный отдых!
Мы лезли из кают на свежий воздух —
и поглазеть на замок Эльсинор...

Он приближался к нам во всей красе
туристам предназначенного шика
и, как магнит, притягивал машинки,
что катят по прибрежному шоссе.

И наш кораблик ржавеньким бочком
все норовил подплыть к нему поближе,
и датский лоцман — здоровила рыжий —
дымил по рубке пряным табачком...

Возьму бинокль у штурмана — он даст!
И руки вдруг вспотеют от волненья,
и замок — в многократном приближенье —
появится, сиренев и грудаст...

О, замок Эльсинор! Над блеском вод
о чем тоскуешь, каменный молчалиник,
над берегами, над мельканьем чаек
зеленый шпиль воткнувший в небосвод?

Трава забвенья камни оплела.
Площадка под стеной бензином пахнет...
Но кто открыл окно у левой башни?
Быть может, в нем Офелия жила?

Вот пушки. Взгляд их жерл — тяжел и хмур...
И флаг с крестом кровавится уныло...
Ах, знаю я — не здесь все это было!
Но так решил великий драматург!

И никаких туристов, яхт, реклам!
Лишь сердце задрожит от резонанса,
поверив, что ровесник Ренессанса —
трагедии вместилище и храм!

И снова Время грузно мчится вспять
по заскорузлым знакам Зодиака,
и «Гамлет» — в переводе Пастернака —
лежит в моей каюте...

И опять...

Там, в замке, принц — то медля, то спеша —
по галереям вдоль перил щербатых
идет... стоит... Он знает виноватых!
Он часа ждет!

О, бедная душа,

под силу ли нести такую кладь,
такой экзамен выдержать — экстерном?
И встретив Розенкранца с Гильденстерном,
им предложить — на дудочке сыграть...

Он сам игрок!

Пусть в правилах игры
двуличны все — и он в обличьях волен!
Они больны, ну что ж, он тоже болен,
безумен даже — только до поры...

И бродит принц. И бредит на ходу.
И узнает на всем черты порока!
Живой цветок — среди чертополоха!

...А в 1602 году —
на Бред-стрит в старом Лондоне —
был пир
в таверне, именуемой «Сирена»...
Вздыхались чаши. Пелась кантилена...
На том пиру — присутствовал Шекспир.

Был постный день, но жареный кабан
до косточек был съеден и обсосан.
Вино лилось рекой. И под вопросом —
была мораль...

И был хозяин пьян.

И расстегнув высокий воротник —
со школы нам известный по портрету, —
Шекспир внимал какому-то поэту,
вещавшему про творческий родник.

«Молчите все! — кричал он. —
Ваша честь!

Я написал для пьесы продолжение
про тягость Фортинбрасова правленья!
Дозвольте мне немедленно прочесть!..»

Он был настойчив. Он напротив сел.
И быть бы скуке, коль не подоспел бы

актер театра «Глобус» Ричард Бербедр,
сказавший так:

«Пойдите к черту, сэр!»

Потом усами дернул, словно кот,
и усмехнулся: «Что милей молчанья?»
Потом сказал:

«А все же не случайно —
о пьесе разговоры целый год!

Мне самому, едва лишь выхожу
на сцену в третьем акте с монологом
все чудится, что я общаюсь — с Богом
и в зале все светильники гашу...

И вижу наяву весь этот ад,
и чувствую, как трогает картина —
и шпагоносеца,
и простолюдина!
И главное, как все они молчат!..

Мы — временны. Мы — гости на земле.
Актерствуем — и в жизни, и на сцене,
но роли наши краткие бесценны
учить Добру...
Так показалось мне...»

«О да, мой друг, — отвечивал Шекспир, —
в природе нет достойнее призванья
оправдывать венца природы званье
и мир лечить, пока недужен мир.

Себя увидев в зеркале, глупец —
уже умнеет! Зло — не так всеильно!
И если жизнь на отклики обильна,
то сможет стать добрее наконец...

Прекрасны миг, движение, порыв —
не уступить,
восстать пред силой грубой,
чтоб каждый понял, что ему Гекуба,
в самом себе сокровище открыв!..»

Так говорил Шекспир, потом — молчал.
В том разговоре — с другом и актером.
В том самом разговоре, о котором —
биографам никто не сообщал...

Какой был век! Каких исполнен сил!
Звезда навстречу Кеплеру летела.
В тюрьме сидел Томмазо Кампанелла.
Отрепьев Гришка шлялся по Руси...

Монах из ртути золото варил.
Костер еретика спасал от скверны.
Творец трагедий — в лондонской таверне —
о главном
в Человеке говорил...

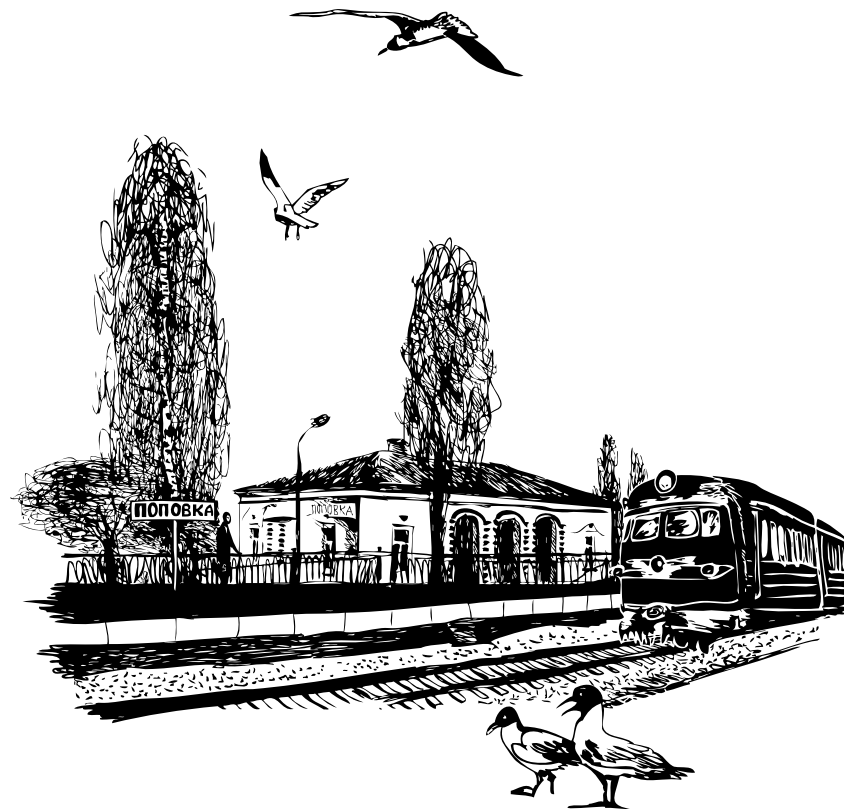
А мы — плывем, наш путь лежит домой...
Сгорел закат. Суда спустили флаги.
За ближним мысом виден Копенгаген.
И стих пора кончать беспутный мой.

Мигнул маяк. И выпустив шасси,
к земле спустился сизокрылый «Боинг», —
свистящий рев оставив за собою...
И ветромер — трепещет на оси.

И все казалось в отблесках зарниц,
что вывернуто Время наизнанку,
что где-то там —
в теряющемся замке —
все мечется,
все мучается принц...

1975

Возвращение



* * *

Тихо. Грустно. Я один.
Время — полночь с хвостиком.
Скрыт от лютых холодин
в комнатухе простенькой.

Не пишу. Сижу, как царь.
Володею славно —
выражением лица
и настольной лампой.

Все заботы — на виду.
А спалось чтоб лучше —
домового заведу
с будущей полочки.

И друзей прикатит рать,
разузнав про это —
домового повидать
и меня проведать...

1969

Вид из окна

Ко мне в окно заглядывает луч
закатного светила каждый вечер —
весной попозже, осенью пораньше...
И я встаю и вижу из окна:
привычный двор, шеренгу тополей —
их каждую весною подстригают,
но к осени они опять лохматы
и веселы, как местная шпана...

Еще я вижу выставку белья —
исподнего, — и это очень мило,
сквозь форточку доносится ко мне
чуть слышный запах сырости и мыла.
Так вот что носит нынче мой сосед —
вот эти майки с синей окантовкой,
вон те трусы, кальсоны и носки...
А что жена — описывать неловко.

А рядом вишня норовит в окно
листвой залезть. Вокруг нее шиповник
разросся. Я сажал его давно.
Теперь он льнет, как преданный любовник,
к ее ветвям, и в нем тоска видна —
шиповники ревнивы, и упрямы,
и неказисты...

Впрочем, и она
не сакура на фоне Фудзиямы...

Но то сейчас, под осень,
а весной,
когда она вся в белом, как невеста,
цвела в окне раскрытом предо мной —
не наравне с шиповником, а вместо, —
куда ему, колючему кусту,
равняться с ней...
Ах, как она светилась!
...И мысли обретали высоту,
и телефон звонил, и счастье длилось...

1972

Ночью

— Что ты сказал?

— Что я люблю тебя.

— А что еще?

— Что мне не спится что-то.

...А тень в углу глядит на нас, скорбя,
нахохлясь наподобье воробья
и затаенно вслушиваясь в шепот...

— Что ты сказал?

— Что кто-то слышит нас.

— Не может быть!

— Мне чудится дыхание...

...Она пришла уже в который раз
и, как всегда, она уйдет сейчас —
уже ушла, не вынеся свиданья...

— Что ты сказал?

— Что мы не так живем.

— Как так — не так?

— Не знаю, но обидно.

...Сейчас она, наверно, под дождем,
и кофточка промокла под плащом,
и мгла кругом, и даже слез не видно...

— Что ты сказал?

— Да спи ты, наконец!

— С тобой уснешь!

— Ну все, ну тише, тише...

...А ветер, вслед ей посланный гонец,
с какой-то вестью прибыл в наш конец —
шумит, колотит крыльями по крыше...

1974

Деревья — как люди: в ненастное время печальны
и словно с похмелья, когда изнывают от зноя.
Но если под вечер к ним ветер домчится случайный —
о, как они шепчут, щебечут у вас за спиною!

О как неизбежны и ласка, и нежность, и сила —
у старого дуба, у юного стройного клена,
когда, как монисто, встряхнет все листочки осина
и, как перед танцем, сгибает свой стан для поклона!

Пусть ваша подружка однажды не вас полюбила,
пусть ваша судьба и тычки принимает за милость,
но если в вас что-то когда-то хорошее было,
куда ему деться — все там же оно, затаилось...

И, может быть, надо не жизнью такой удручаться,
и ближних своих, и весь мир проклиная за это,
а просто до праздника, просто до звездного часа —
стоять на ветру и листву поворачивать к свету...

1975

Осенний сон

Развиднелось. Вышел месяц бледнорогий.
Печи топятся в домах. Собака лает.
А по сирой, по заплаканной дороге —
по колдобинам колдунья ковыляет...

В глине вязнет посошок. Шаги со всхлипом.
Вот идет она деревней, а за нею —
то береза разжелтеется, то липа,
то осина с кленом разом покраснеют.

Вот идет она к забору, за которым
дом со ставнями, где я лежу в постели.
Посошком стучит в ворота по запорам:
«Эй, откройте! Ночью птицы улетели!

Не живет ли здесь чужак с душой из камня?
Нынче птицы за сто верст такого чуют.
Дайте глянуть на него хоть в полглазка мне!
Вам помочь, да и ему помочь хочу я...»

Ей хозяйка отвечает: «Постояльцем
я довольна, уходи, нечиста сила!»
А она в глаза ей глянула и пальцем —
узловатым, крючковатым — погрозила.

И сказала: «В раззолоченные чащи
не сегодня-завтра стужа прокрадется.
Не глядеть бы вам на свет бывшего счастья,
как на звезды из глубокого колодца!»

И увидел... Утро. Месяц бледнорогий.
Печи топятся в домах. Собака лает.
А по сирой, по заплаканной дороге —
по колдобинам колдунья ковыляет...

Вчера бюро прогнозов обещало,
что будет дождь, и ветер восемь баллов,
и листопад, и слякоть...

Сарай наш превратился в балаганчик,
фонарь — в люминесцентный одуванчик,
корявый клен — в ажурный фейерверк;
из труб шел дым изящного покроя,
и нежный снег — безумие какое! —
выпархивал из облачных прорех...

Глаза зажмурь — так он нелеп:
 летящий,
сентябрьский, пуховой, ненастоящий...
Все перепутал — месяц и квартал!
Еще никто на осень дум не тратил —
покупки шуб не примерял к зарплате,
лишвы не мел, щелей не конопатил,
лохматых астр с лотков не раскупал!..

И самому себе скажи украдкой:
в природе все должно быть по порядку,
бюро прогнозов — нужное бюро!
Но, даже отвернувшись от подарка,
открой глаза — как празднично, как ярко,
смахни слезу — как тихо, как бело...

59

...И стану ждать гостей я дотемна.
И лишь когда опять все станет ясно —
я закурю, налью себе вина...
И выгоню кота — за тунеядство.

1976

Омар

В давнем рейсе на Джорджес-банке
мы работали тралом донным —
и приплыл он, как бич по пьянке,
в груди хека — зеленым, сонным...

Но судьбу он встречал, как воин,
и усы вздымал предо мною,
и почтения был достоин,
нож мой шкерочный сжав клешнею!

С той поры он живым остался
только кадром на фото пленке...
С остальным я пять дней старался —
делал чучело на картонке!

Шиком было — из странствий шалых
в порт родимый прийти с омаром!
В Ленинграде во всех пивбарах
красовались они недаром...

И когда я с ним шел по трапу
и потом с ним катил в трамвае —
мир снимал предо мною шляпу,
явной зависти не скрывая!

О, романтика, труд рыбацкий!
Обретения и утраты...
Года три он висел, маячил
украшением родимой хаты.

Ни волны ему, ни отлива.
Ни охоты ему, ни жажды.
Кот глядел на него лениво,
и на клочья разгрыз однажды...

1976

Визит

М. Гутману

Старушке — восемьдесят три.
Она сама открыла двери.
Заехал внучек и — смотри! —
еще бог весть кто, при портфелях...

Внук объяснял: — Проездом я,—
а мы, безвестные поэты,
вкушали сдобный дух жилья,
в снежочек тихвинский одеты...

Уже не помню, как там что,
но помню — бабка пела песни,
закуску выставив на стол
и даже выпив с нами вместе...

А песни были — просто ах! —
о лебедицах с тонким станом,
о тех валдайских молодцах,
что завтра рекрутами станут...

Певунья кашляла в платок,
Допев куплет, — и снова песню!
А голосок — высок, высок
и так по краешку надтреснут...

И был печален наш уход
от этой старости беспечной,
где если кто и подпоет —
так только лишь сверчок запечный...

1976

Гомер

Слепой старик о Трое не слышал.
Он в сорок первом — за рекою Мгою —
в бою столкнулся с пламенем и мглою...
С тех пор он мглу руками раздвигал...

Но мне и рук, сторожких и живых,
хватило, чтоб задуматься о сходстве —
во Всероссийском обществе слепых
на Волховском учебном производстве!

Неотличим от прочих, молчалив,
лишь седенькие лохмы на затылке —
он трудится, он даже в перерыв
все свинчивает штепсельные вилки...

А я стихи, держа с водой стакан,
вещаю, ожидая интереса —
о том, что на щите для Ахиллеса
впечатал в медь божественный чекан...

О городах, в которых я мужал,
о войнах, о которых только слышал,
о пашнях, вдоль которых проезжал,
о звездах, что видны над каждой крышей...

Об океанах, из которых путь
к родной Итаке и тяжел, и долог...
А сам волнуюсь, словно офтальмолог —
спешащий свет незрячему вернуть!

...Слепой старик лицо приподнимал,
детальки доставая из картонок,
и слушал так, как будто вспоминал,
и улыбался мудро, как ребенок.

1979

Плафон

Н. Никитину

На высоте мушиного полета,
весь в крапинках мушиного помета,
висит казенный матовый плафон,
и племя насекомое ночное,
являя нам старание смешное,
исследует его со всех сторон...

Спасибо вам, плафон шарообразный,
за то, что вы такой однообразный,
за то, что я — разиня из разинь! —
рванусь на свет, но вы меня спасете,
затрепещу, но вы в ответ споете
привычно и рассеянно: дзинь-дзинь...

И можно жить, не мучаясь сознанием,
что есть предел полетам и познаниям,
что это можно в формулы облечь, —
но страшно знать, что в двух шагах от света
мы можем жизнь — и думая об этом! —
прожить и даже крыльев не обжечь...

1976

Шкаф

В нашей комнате шкаф поселился!
Он сперва в магазине пылился,
а теперь он пылится у нас —
необъятен и мрачен, как бездна,
как сосед из второго подъезда —
две замочных дыры вместо глаз.

Что его ненасытной утробе —
три рубашки, да простыни обе,
да пальто, да штаны, да пиджак?
Захватил мою площадь жилую!..
Он живет здесь, а я — квартирую,
да и то в уголке, кое-как!

Друг остаться решил на ночевку —
тоже ежился как-то неловко
и полночи мотал головой...
Говорю:

— Что не спишь?

— Да не спится...

А засну, чушь какая-то снится!
Этот, купленный твой, как живой...

Гость другой говорил:
— Все поправим!
Этот гроб мы сейчас переставим!
Шум и грохот стоял на весь дом...
Переставили, но — без успеха.

...И расстроился гость, и уехал.
И — ни слуха, ни духа о нем...

Этот шкаф не разбойник безродный —
на его стороне оборотной
брезжит мебельной фирмы печать.
Но таю я на фирму обиду —
ведь нельзя же к уюту и быту
так насильственно нас приучать!

Я живу рядом с ним осторожно.
Примириться мне с ним невозможно!
И в предчувствии долгой войны
я завел специально в кладовке —
лом, топор, две зубастых ножовки...
Только шкафу об этом — ни-ни!

1977

Посещение южного рынка

На рынке центральном — чего только нету в продаже! —
зеленые горы укропа, салата и лука,
холмы помидоров, и яблок, и вишен, и даже —
балтийская сельдь иностранкой глядит из тузлука...

Горят георгины. Рассыпался куль с огурцами!
Наряд милицейский привычно гоняет цыганок.
И жирные куры ведут перебранку с гусями.
И рядом с фуганком, как брат, притулился рубанок...

И так сиротливо соседствуют — с крупной картошкой,
с гвоздями, и воблой, и пестрым ковром домотканым —
потрепанный Пушкин, и Герцен, помятый немножко,
и видевший виды Дюма, и Гайдар с Мопассаном...

— Почем огурцы?

— Рупь с полтиной, берите лукошко!

— Тургенев почем?

— Да за шесть карбованцев, касатик!

— Давайте за три!

— Да вы только подумайте трошки,
какой был писатель Тургенев, какой был писатель!..

Итак, помидоры — пятерка, и Гоголь — пятерка!
И если, допустим в уме, обойтись огурцами,
то сдвинется круг и пройдетя чечеточкой Теркин
иль юный Гринев пролетит по степи с бубенцами!..

Торговля шумит — где на совесть нажмут, где на голос!
И только кавказцы сидят среди груш отрешенно...
И алый бутон развернул на бедлам гладиолус —
и вот уже щерится он, как раструб граммофонный!

И ропщет кабан, и толкает хозяина боком,
не в силах терпеть этот гомон и торг задушевный!
И люди проносят авоськи — с картошкой и Блоком,
а то и с Флобером, Флобер — тяжелей и дешевле...

1977

Двое

Лениво, мягко всплескивал прибой.
Маяк мигал, как сторож полусонный.
Вечерний пляж, где я искал покой,
еще не приготовился к сезону.

И были клейки листья тополей,
и от скамеек пахло свежей краской.
Почти надрывный, но чуть-чуть теплей,
крик чаек не навевал опаски.

И вышли двое. Парень и она...
Идиллия — чудесная, чужая.
И выплыла из-за моря луна,
привычно этот мир преображая...

Шли двое так, как пробуют лады
на дудочке, а море наплывало —,
и ласково смывало их следы,
и что-то им тихонько подпевало...

Вот — таинство! В смущенье отвернись...
И чтобы их друг с другом разлучила
назавтра наша взбалмошная жизнь —
какая злость нужна, какая сила!..

1977

Собака

У автовокзала, на ржавом от пыли асфальте,
где намертво влипли в асфальт то окурок, то фантик —
бастует собака. Собака лежит — и бастует.
Она против жизни собачьей такой протестует.

Кудлатая псина — она привлекает невольно
вниманье болезных старух и детей сердобольных.
Но даже на сахар не смотрит, такая досада...
А если и смотрит, то холодом веет от взгляда...

У автовокзала, где молча бастует собака,
автобусов ждут — то веселье возникнет, то драка.
И «хроник» по-нашему, или по-местному «алик»
в иссохшее горло вливает, зажмурившись, шкалик.

А солнце все выше. Асфальт размокает, как тесто.
Но псина лежит, нет конца забастовке протеста.
И каждый, кто взгляд на себе ощущает собачий,
отводит глаза, словно совесть кольнувшую прячет.

А та шоферня — матерщинники, медные лица —
кричат из кабин ей: «Нашла же где, бля, развалиться!»
Понятное дело — собака движенью мешает.
Но каждый автобус ее стороной объезжает...

1977

* * *

Т. К.

— Пей чай, остынет! — нет, не слышит.
И смотрит, будто сквозь стекло.
Негромкий дождь стекает с крыши.
На кухне тихо и тепло.

Но вот очнулась, оглянулась,
засуетилась у стола
и так смущенно улыбнулась...
— Послушай, где же ты была?

— Да так, забылась, — отвечает, —
потом, быть может, расскажу.
Давай-ка лучше выпьем чаю,
давай варенья положу...

— Ну положи... — ведем беседу.
И вот уже я сам лечу
за мыслью призрачной по следу
и чайной ложечкой бренчу.

А мысль уже за краем света
во мгле резвится и парит...
И нежный кто-то рядом где-то:
— Пей чай, остынет! — говорит.

1979

* * *

Так в детстве было хорошо
мечтать, ершась, как петушок,
обиду горькую лелея, —
вот заболел нáзло всем
или умру не насовсем,
тогда все вспомнят, пожалеют!

Начнут вокруг меня ходить
и жженым сахаром поить,
кастрюльку каши манной сварят,
и яблок принесут, и в ряд
положат их, и всё простят,
с полочки курточку подарят...

Теперь не то — уходишь в ночь,
винишь обидчицу, точь-в-точь
как в детстве, в том, что получилось,
но остываешь на ветру
и думаешь уже к утру —
не заболел, не умру,
вот с ней чего бы не случилось!..

1979

Парк Сосновка

В. Сурову

— И это жизнь? Довольно, хватит!
И в спорах должен быть предел! —
И к сигаретам — прыг с кровати,
и в ночь, и плащ едва надел.

Вон там, за парком, в доме блочном
живет приятель давний мой!
К нему с визитом неурочным —
два километра по прямой!

Он мне сейчас роднее брата,
он правоту мою поймет;
я утешал его когда-то,
ну что ж, теперь его черед!

Вперед — сквозь тьму и стынь, где звезды
серебряные, как мальки,
стремглав пронизывают воздух,
и кроны сосен высоки!

Вперед — к березам на опушке,
что пряди свесили до пят,
и на всех ветках до верхушки —
вороны спящие висят!

Сберег же кто-то нам Сосновку...
И вдруг опомнится душа,
пейзаж примерит, как обновку,
и убедится — хороша!

Еще бы лунный свет добавить
или туману волю дать!
И локон тот — вот так — поправить,
и эту ветвь — вот так — прибрать...

И все. И можно возвращаться.
А там все то же, все — точь-в-точь...
— Послушай, что нам препираться?
Такая ночь,
такая ночь!..

1979

* * *

Снова два монолога
в диалог сведены.
И ноябрь у порога.
И сады сожжены.

И затеял круженье
хоровод снеговой...
Выяснять отношенья
мне и ей не впервой.

А она глаза прячет
и молчит у окна —
за полслова до плача,
за полночи до сна.

И понять ее душу —
как скворца воробью.
И не скажешь: «Послушай!»
Не услышит: «Люблю...»

Мир становится шаток,
обвалиться грозя.
И не скажешь: «Нельзя так...»
Ей известно — нельзя.

И сидим, как на тризне.
Тут зови, не зови.
...Вся запутанность жизни —
против нашей любви.

1979

* * *

Заглянул во вчерашнее — встретил развал,
суету да понурость...
То юродство, что раньше добром называл,
нынче злом обернулось.

И любовь, что была, износилась уже.
И тоска — все бесплодней.
Как рубашку сменить, захотелось душе
новой жизни сегодня.

Говоришь: «Я отныне в тот дом не ходок,
я к себе без поблажки!...»
Говоришь — ощущая уже холодок
этой новой рубашки.

Говоришь, и как будто над бездной стоишь,
и мурашки по коже...
Но к обеду, глядишь, эта новая жизнь —
на былую похожа.

1970

Под вечер

Раздумьями, как сном,
объяты сад и дом —
с дремучим стариком
и псом, на вид угрюмым...
Накрапывает дождь,
вгоняет листья в дрожь —
во все заботы вхож
и сам подвержен думам...

Он думает, что сад
его касаньям рад —
соцветьями объят
и огражден штакетом...
А сад себя для глаз
расправил напоказ —
и думает сейчас,
но вовсе не об этом...

Он думает, что пес,
который кость унес
в тайник у двух берез —
смешон своим секретом...
А псу и невдомек,
на лапы мордой лег —
и размышляет впрок,
но вовсе не об этом...

Он думает, что вот
хозяин в дом нейдет,
небось, кого-то ждет
с подначкой иль приветом —
да время ль для гостей?
Мокрб в округе всей...
А сам старик Евсей
колдует над кисетом,

и в круге пестрых дум —
и сад, и пес, и шум
дождя, и хитрый кум,
который прошлым летом,
когда возил кирпич,
зажилил магарыч...
Заглянет старый хрыч —
напомнить бы об этом!..

А дождь уже прошел.
И только капель щелк.
И вечер звездный шелк
развесил по сырому...
И сад стоит в цвету
и пахнет — на версту!
И кум сквозь темноту
сворачивает к дому...

1979

Гусь

Гусь ранен был некрупной дробью влет.
Он медленно снижался, словно планер...
Стрелявший, симпатичный с виду парень,
сказал: — Ништо! Далеко не уйдет!

Другой сказал: — Да вроде все к тому...
А гусь летел, летел с упорством странным,
и вдруг с надрывным клекотом гортанным
его собратья кинулись к нему.

Два — по бокам, а третий поднырнул
и снизу, шею вытянув струною,
стал вверх его подталкивать спиною —
и раненый крылами вдруг взмахнул!

И выше, выше — в синий небосвод,
где не страшны уже ни дробь, ни пули!
И вновь ослаб, и снова подтолкнули...
Кружил, мелькал гусиный хоровод...

И всё — ушли. И, плюнув в рыжий мох,
стрелявший бормотнул:

— Ушел, чертяка!

Другой сказал:

— Стрелять учись, растяпа... —
и тоже уронил протяжный вздох.

1979

* * *

М. Кононову

Помнишь, ночь была на свете?.. Ночь без времени и края...
На недвижимые воды звезды падали, сгорая...
А на смену им другие — появлялись и сверкали...
Чьи-то спутники цепочкой Млечный Путь пересекали...

Будто мрачный страж созвездий, где-то филин гулко ухал...
В позе сфинкса теплый псина — наш товарищ лопухий —
у моих коленей замер, величавый и бесстрастный...
Помнишь, ты шутить пытался, но неловко, но напрасно...

А рыбацкий сын Серега — парень в возрасте Ромео —
на корме сидел неслышно — оробелый, онемелый,
и курил умело «Север», и глядел сквозь дым на звезды...
Ты сидел на веслах, звезды тихо звякали о весла...

И казалось, что в пространстве мы уже лет двести плыли
и в морщинах курток наших было столько звездной пыли,
что когда бы ни пришлось нам в мир обыденный вернуться —
не удастся стать другими, не удастся отряхнуться...

1979

Строка

Д. Толсто́бе

Что ему — кнопка, Публия Клодия дочь?
В Риме красавиц — как в Геллеспонте акул!
Только мигни он — каждая будет не прочь...

Лесбию любит Катулл.

Этот мальчишка? Автор бесстыдных стишков?
Сам Цицерон на нахала рукою махнул!
— Нет, — возражают друзья, — он совсем не таков!

Лесбию любит Катулл.

Ну а девчонка нынче с другими нежна!
Кто подмигнул ей? Кто ему вслед хохотнул?
Горько Катуллу, но шлюха ему не нужна...

Лесбию любит Катулл.

Медленно Лета воды несет сквозь века.
И выплывает — вместо неронов и сулл —
эта живая, грустная эта строка...

Лесбию любит Катулл.

1979

* * *

И. З.

Соратница, сородич по перу!
Наш слог ленивый ей не по нутру —
живущей то в трагедии, то в драме,
то в посиделках с музой по ночам,
то волосы распустит по плечам,
и в каждом жесте власть и темперамент!

И — места не найдет из-за стиха!
Больна — из-за любого пустяка!
На улице столкнемся:

— Стой, куда ты?

— Прости, потом зайду поговорить,
мне в доме надо форточку закрыть! —
и понеслась, безумна и крылата.

Да что ж такого! Форточка — пустяк!
Но так спешит, как будто всё не так,
как будто — и заоблачные выси,
и вера, и любовь, и черт-те что —
походка, строчка, сон, ремонт пальто! —
от этой самой форточки зависят...

Но видно есть глубокий смысл и в том,
что так спешит в оставленный свой дом
печалей наших давний соглядатай!
У всех у нас такой сквозняк в доме,
что возвращаться боязно к нему
всем — не закрывшим форточку когда-то...

1979

Амур

Этот мальчик нехмурый —
ни курсов, ни школ не кончал.
Все печали Амура —
о том, что пустеет колчан.

Кто там, встретивший деву,
поразился и встал, чуть дыша?
Чья, под ребрами слева,
запела, забила душа?

Сумасшедшая пляска!
Не выдержит сердце ее...
О, опасно влюбляться!
Опасно дразнить острие!

Мальчик — меткий охотник
и знает мирские дела!
Ах, в кого там сегодня
тихонечко тукнет стрела?..

У кого там — от муки
и сладкое слово горчит?
Из кого — и в разлуке! —
стрелы оперенье торчит?

1979

* * *

Ты скажи мне, заряночка, что ты, о чем это ты
распеваешь в зеленых ветвях посреди небосвода?
Или мало забот в это шумное времечко года,
иль врагов не таят молодая трава и кусты?

Или есть кому выслушать твой безоглядный мотив,
или можно и впрямь не таить — среди драки и торга,
среди всей этой сволочи! — чувство любви и восторга,
не сфальшивив ни нотой и сердца тоской не смутив?..

И сказала заряночка: «Песня моя не о том...
Что житейские горести, проза гнезда и потомства!
Да и стоит ли жить, поминутно боясь вероломства,
да и стоит ли петь, похвалы дожидаясь потом!

Эта песня моя о волшебной весенней поре,
о сверкающем мире, который для песен не тесен,
эта песня о том, что певцы существуют — для песен!
Остальное не в счет, остальное не в счет — на заре...»

1979

* * *

В лесу на нижнем этаже
светло от близости заката.
Был дождь, и дымкою объята
листва, и высохла уже.

И сотни солнечных лучей
продолжены, как по линейке,
во все углы во все лазейки:
вот гриб, вот птаха, вот ручей,
и водомерок легкий флот,
и —

в папоротник забираясь:
— Эй, кто тут, ну?! —
а это заяц,
который трус и скороход!...

В толпе берез осин, ольхи —
кто заставлял минуты эти,
тот жизнь увидел в лучшем свете —
намного лучшем, чем стихи.

1979

Тихий час в пионерском лагере

Птичьим веком накрыв равнодушный значок —
спит начальница лагеря... Сон ее веский
так солиден, что скрипнуть боится сучок
за окном и не тронет сквозняк занавески...

Пионерское лето — безветрие, зной.
Даже строчки о нем разомлели в тетради...
Долго спорят на кухне над пылкой плитой:
что на полдник готовить — печенье, оладьи?

На магнитную пленку записанный горн —
отключен. И радистка ушла по ромашки.
И июньское солнце томит небосклон.
И у сторожа водка мерцает в рюмашке...

И тогда — но несмело, с оглядкой на дом,
где начальница лагеря в неге и дреме! —
зяблик рвет тишину

озорным голоском,
и ворона крыло свое чистит на доме...

И тогда шустрый дятел стучит по стволу,
белка скачет, торопится шишки обшарить,
муравьи к муравейнику тащат иглу...

И решают на кухне —
оладьи поджарить!

И какой-то мальчишка, созрев для игры
лезет через окно, понимает, проказник,
что начальница лагеря,

зной,

комары —

это мелочи жизни...

Но жизнь — это праздник!

1980

Мичман

Любит мичман отставной
поболтать со мной в подсобке —
входит, с водкой за спиной,
говорит:

— Давай по стопке!

Я стакан ему подам,
и плывет басок негромкий:
как там ходят по морям —
на подлодках в «автономке»!

Как хотят домой к семье,
как, вернувшись, пьют от скуки,
как на Новой той Земле —
службу служат при науке!

Там, где атом в полный рост —
но чтоб я молчок об этом! —
лед и снег на сотни верст
заливает мертвым светом...

Полстолетия за спиной.
Подливай в стакан да слушай!
Вот сидит он предо мной
с папироскою потухшей.

Три семьи переменял.
Наплодил детей по свету.
Много надобно чернил —
описать планиду эту!

Всюду полный отставник.
Не начать судьбу по новой...
Рубит чурки истопник
для детсадовской столовой.

Рубит чурки — день за днем,
пьет, внушает бабам жалость...
Может, это так на нем
радиация сказалась?

Что нам всем трудней всего
знать? Что будет жизнь иная...
Вот, допустим, для него —
есть надежда? Нет, не знаю.

Да и знать — на кой мне черт!
Всех нас век не скупко тратит.
Запишите в общий счет —
пусть Грядущее оплатит!..

1980

* * *

Худенькая — локти да ключицы...
Надо же такому приключиться:
двое тертых временем мужчин —
за девчонкой-пионервожатой! —
вьются день десятый и двадцатый,
безо всяких видимых причин...

Ей еще семнадцать, нам за тридцать...
А она нас дразнит, веселится —
эдак поглядит через плечо:
где вы тут? И нам не разминуться,
и в ответ лица ее коснуться —
боязно глазам и горячо...

Ладно б я, со мной всегда такое:
я влюбляюсь вмиг — и нет покоя!
Но очнусь и понимаю — блажь...
Ну а он, свирепый сын Кавказа!
Как вздыхал он, этот кареглазый!
Ах, да разве ж это передашь...

Вот какой сюжет несовременный...
А когда уехала со сменой —
нам рукой махнув издалека —
мы с ним сели рядом, закурили,
нас, как перед Богом, примирили,
уравняли — нежность и тоска...

...Может, повзрослеет к ледоставу,
вспомнит свою летнюю забаву —
как бродили следом два орла...
Спросит у ночного снегопада:
«Что им надо?..»

Ничего не надо.
Ничего. Спасибо, что была.

1980

Застолье

В уютный летний вечерок
они забрались в уголок —
и распечатали бутылку...
И о стакан стаканом — звяк! —
и по кусочку кое-как
поймали иваси на вилку.

Тогда сказал один из них:
«Вот мы сидим, и вечер тих, —
так он сказал, уже согретый, —
и рядом за стеной не спят,
и со стаканами сидят —
за этой вот стеной и этой!

И там, — он сделал резкий взмах, —
во всех бараках и домах
сидят — со светом и без света!
Такой же закусон едят,
такой же анекдот твердят —
сидят, а праздника и нету!..

Сидит вся область в тишине!
А поглядеть — по всей стране
сидят, от севера до юга!
И хоть давно уснул восток,
но собирает шепоток —
в такой же уголок у Буга!..»

Так он сказал на той гульбе,
и стало всем не по себе
от необъятной этой доли,
от подступающей тоски —
она ударила в виски...
«Ах, наливай скорее, что ли!..»

1979

* * *

Скворец поет запоем — и когда!
Уже багровы на прощанье клены,
и тяжелы от капель провода,
и холода построены в колонны...

О чем тут петь? В такие времена —
в охапку шапку и айда южнее!
Иль по сердцу тебе моя страна
и тяга к постоянству все сильнее?..

Картавый мой!

Сомнения забудь —
лети, лети, ищи судьбу иную!
Не беспокойся, я уж как-нибудь
здесь за обоих нас перезимую...

Перезимую, спрятавшись в пальто,
переживу, обувшись потеплее, —
да, без твоих неистовств, но зато
со снегирем в заснеженной аллее!

Лети, лети — твой жаркий свист в цене
там, где сирокко веют и мистрали!..
А мне бы оглядеться в тишине,
успеть до снега разглядеть детали
прекрасного —

его каркас, чертеж,
все, что листвою летом заслонялось

и щебетом...

Иначе не поймешь,
что в нем такого есть, какая малость —
зацепка — составляет существо
того, что чувством Родины зовется!..
Быть может, можно жить и без него...
Но это и скворцам не удастся...

1979

Взгляд



* * *

В хороводе и на карусели —
хорошо, особенно сначала.
Вроде жизни крутится веселье —
лишь бы никого не укачало.

Знаю я спецов по этой части,
что скатились, круга не проехав,
в головокруженье от несчастий,
в головокруженье от успехов...

Вот и выход путают со входом,
вот и жизнь с усмешкой называют
каруселью или хороводом —
и не любят, и другой не знают.

1981

Зимняя баллада

На одной стороне дороги — сосна.
На другой стороне дороги — фонарь.
На столбе и ветвях — густошерстая изморось сна,
не спеша, подрастает весь день, потому что январь...

Целый день они спят, а дорога скрипит и скользит —
под ногами, колесами, лыжами — за поворот,
за поселок, за поле и лес, за край света бежит...
Вот и сказке конец, вот и ночь по дороге бредет.

Но когда, чертыхнувшись и брякнув в потемках ведром,
вышел дядя из будки и ржавый рубильник врубил —
разгорелся фонарь и лучистым своим серебром
стал сосну согреть, потому что влюблен в нее был.

Он еще в ноябре в первом снеге ее разглядел —
и с тех пор каждый вечер, очнувшись, распугивал тьму,
и все шею тянул, все к ветвям прикоснуться хотел...
И она, вся искрясь, над дорогой тянулась к нему.

О, нелепое чудо, о, радость свиданья в ночи!
Свою жизнь оглядев, я пред ними качну головой...
Я тебя разлюбил, ты забыла меня, и ключи
от недолгого счастья — под снегом, листвою и травой...

И опять рассветет. И опять — только изморось сна
на столбе и ветвях. И дорога уносится вдаль...
На одной стороне дороги — сосна.
На другой стороне дороги — фонарь.

1981

Свитер

В дому, где за полночь в окне
не гаснет свет у изголовья,
красивый свитер вяжут мне,
и каждая петля — с любовью.

Я вижу — как не увидеть? —
зачем я в этом доме нужен:
чтоб теплым свитером объять,
и приручить, и сделать мужем

своим — и холя, и любя,
и пестуя... А свитер ярок!
Но я же знаю сам себя —
о да, я тот еще подарок!

Ведь вот же счастье дураку!
Но, видя ловкую работу,
в себе смущенье и тоску
я ощущаю отчего-то.

И тянет в темень поездов.
И тягостно от хладнокровья.
А свитер мне уже готов,
и каждая петля — с любовью...

1984

Чайка

Ты можешь подняться выше, Джонатан,
потому что ты учился, Ты окончил одну школу,
теперь настало время начать другую...

Р. Бах. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»

Рыжий траулер к стенке приник после плавания.
Чайки ловят отбросы и жрут на лету.
Запах угля крадется из Угольной гавани,
словно кошка, на запахи в Рыбном порту.

Кран порталый скрипит. Небо ватой спеленато.
Чьи там крылья сверкают опять надо мной?
Я живу на земле, не смущай меня, Джонатан,
приглашением к немыслимой жизни иной!

Я и все мы — ручные, верней, прирученные —
обреченные помнить, что крылья слабы!
Все мы здесь, на земле, на ошибках ученые,
все закончили тусклую школу судьбы!

Мы — в земном пилотаже умельцы и практики!
Гей, друзья мои, где вы? Зови, не зови —
разлетелись друзья мои, словно галактики,
растеряли по перышку крылья свои...

Вот и машем рукой — это, мол, от лукавого!
...Чайки ловят отбросы и жрут на лету.
Запах угля крадется из Угольной гавани,
словно кошка, на запахи в Рыбном порту.

И все дальше, все выше над берегом глинистым —
все несбыточней — зная о том наперед,
реет чайка по имени Джонатан Ливингстон,
в одиночку раскручивая полет...

1981

Сны

Спит мальчуган с ладонью под щекой.
В пучине вод, в отсеке спит подводник.
Спит продавец, и вздох во сне такой,
что сам вздохнешь...

Что снится им сегодня?

И психоаналитик видит сны —
и сам себе бормочет: «Мило, мило...»
Спит население города, страны.
Раздумьями писателя сморило...

Треть жизни, проводимая во сне,
заполненная перевоплощением,
полетами, тоской о лучшем дне,
и жалостью, и счастьем, и мученьем...

Других две трети, вон они — вокруг!
А эта вся внутри, вся в человеке!
И он весь в ней: сам враг себе, сам друг —
пока однажды не уснет навеки...

Сам режиссер, сам зритель, сам герой,
сам говорит чужими голосами...
А что во сне не ладится порой,
так и вокруг всё так — смотрите сами!

1982

* * *

О, если б слякоть, или дождь,
иль хоть какое невеселье!
Нет, жизнь — прекрасна, день — хорош.
Тут — свадьба, рядом — новоселье.

Стучат папаши в домино,
вполне довольные собою.
По телевизорам кино
идет с любовью и стрельбою.

За тополями слышен смех.
Фонтан журчит — такая прелесть!
Гуляют пары, и на всех —
сплошные «Адидас» и «Левис»...

Куда же, закусив губу,
так смотрит женщина вот эта?
И прядь волос, скользнув по лбу,
не в силах спрятать слез от света.

Она глотает седуксен.
И снова руки опустила.
Как будто счастье дали всем,
а ей — последней — не хватило.

— Чем вам помочь? — спрошу, спеша.
— Нет, нет, не стоит беспокойства!
...И зябко ежится душа
от мирового неурейства...

1982

Теплые дни в октябре

Не спешит удача к человеку —
жизнь полна рутины и тоски...
Посреди судьбы на склоне века
он устало трогает очки.

То любовь старинная приснится —
нежность губ, дыханья теплота...
То дворцов и храмов черепица —
побывать в Италии мечта...

Но семья и прочие препоны —
неизбывно держат на черте.
А на даче, в Вырице зеленой,
хороши пейзажи, да не те...

А года уже не молодые.
А листва скребется по земле.
Вот уж и виски полуседые —
заморозки были в сентябре.

Вот уж и серебряное млеко
потекло с небес, еще чуть-чуть —
и погасят вьюги человека...
А мечта с любовью — как-нибудь.

Но в четверг, с самой природой споря,
вслед размытым рыжим облакам —
терпкий воздух Средиземноморья
потянулся к неврам берегам!

Потянулся — медленный и жаркий,
каждою молекулой своей
помнящий собор Святого Марка,
церковь Санта-Кроче, Колизей!

Словно кто-то взгляда с нас не сводит
и, когда невмочь, он тут как тут,
и в садах с ума деревья сводит...
Вон они — проснулись и цветут.

Ах, в такую пору все бывает!
И любовь, восстав из забвения,
его имя в трубке называет,
тихо шепчет:

— Здравствуй, это я...

1981

Фонтан

О, дивных струй полет и бег —
столь расточительный и странный!
Кто он — тот добрый человек,
забывший выключить фонтаны?

Спит город. Ночь, свершив труды,
сползает к западу, но действие
веселой брызжущей воды —
не стихло близ Адмиралтейства!

И там — на Невском, где ходок
найдет его легко и скоро —
хрустальный бодрствует цветок
в тени Казанского собора!

Он шепчет:

«Добрый человек
чаек индийский пьет в дежурке
иль спит с устатку в голове
на вдвое сложенной тужурке.
И пусть! И пусть!

Пока судьбой
отпущена возможность пенья,
не важно, что перед тобой —
забвенье или преклоненье!

Но очень важно в этот час
не знать тоски, забыть интриги,
пока из космоса на нас
взирает башня Дома книги!

Пока в ладонях колоннад
фонтанной песенке раздолье,
пока, заслушавшись, стоят
Кутузов и Барклай де Толли!..»

1982

Архимед

Живем во временах, которых мы достойны.
Но в давние века заглядывает грусть.
А там — опять чадят Пунические войны
и римляне галдят в предместьях Сиракуз.

У нас — свое кино, у нас — получка в среду,
у нас своих забот — хоть пруд пруди, хоть пруд...
Но что же там открыть не дали Архимеду,
призвав к постройке рвов, зеркал и катапульта?

И наши времена чреватые смрадом дымным —
вся жизнь на волоске, все тоньше эта нить!
Но Архимеда жаль, и греков жаль, и римлян...
И жаль, что ничего нельзя предотвратить.

Нельзя, уже на штурм пошли Марцелл и Клавдий!
Нельзя, хоть зеркала спалили римский флот!
Ведь самый светлый ум — ничто, сказать по правде,
в сравнении с возней у городских ворот...

А будь исход иным или не таким бесславным —
кто знает, может, мы имели бы меньше бед!
Не зря ж в предсмертный миг —
 вся боль, весь страх о главном, —
«Не тронь моих кругов!» — воскликнул Архимед.

1981

* * *

Я вспомнил номер автомата
Калашникова, мне опять
приснился он, мой тускловатый,
и цифры — 2205...

И то армейское умение —
слегка дыхание затаить
и движущийся бок мишени
с прицельной планкой совместить...

К чему оно мне, если в мире,
где на весах добро и зло,
с лихвою ядерные гири
для счетов время завело?

Кого спасет мое умение
за дверью дома моего —
на том вселенском помрачении
в последний час и миг его?

Но форму спуска и приклада
и над рожком цевья обхват —
в тени рассеянного взгляда
невольно руки повторяют.

Поскольку жизни невинность
понятна сердцу и глазам,
и защищать ее готовность —
инстинкт, природой данный нам...

1984

* * *

Девятнадцатый век — он как будто за тонкой стеной!
Динь-динь-динь — колокольчик в Тригорское, в Болдино,
в Линцы...

Гром сражений. Балы. Размышленья о жизни иной...
Декабристы, поэты, студенты, купцы, разночинцы...

Строчки писем, стихи, протоколы в архиве сыском —
в них страдают и любят, печалются и острословят...
На дуэли спешат и сидят в карантине чумном,
ждут вестей из Хивы и гремучие смеси готовят...

Им самим все музыка минувшего века слышна —
бунты, казни, реформы... Мыслители и лиходеи...
Через сотню-то лет — так легко понимать времена!
Современником быть, на себе выносить — потруднее.

Но я видел во сне двадцать первого века закат!
Всё узнали про нас там, все шифры прочли и чернила.
Жаль услышать нельзя, что они там про нас говорят —
только б все это было, о, только бы все это было...

1984

Ломбард

По дому, где весь день людской поток
течет вдоль касс и деревянных стоек —
прошлась метла эпох и перестроек...
Лишь сводчатый беленый потолок
на кольца, мех и прочее добро
глядит — и ничего не понимает,
и времена иные вспоминает —
иной хрусталь, иное серебро...

И вечерами, лишь затихнет шум,
дом занят сном — старинным, драгоценным,
где тени заговорщиков по стенам,
где спорит с чувством сердце, с сердцем ум...
— Не опоздать бы, — голос за столом.
— Где манифест?

— На полке в кабинете.
— Ах, господа, сенаторы — не дети.
— Ах, господа, как славно мы умрем!

И чей-то вздох. В сомненьях есть резон.
Все выяснится утром у Сената,
но мысль о пораженье жутковата...
А мрак над Мойкой снегом занесен.

— Ты как, Мишель?
— А я как все, Жанно!
— Считаешь, что получится?
— Не знаю...

Ночь за окном глухая, ледяная.
И в ней лицо стеклом отражено.

А за спиной:

— Страшитесь вы, да-да!
То мало войск, то мало офицеров,
но я ручаюсь за лейб-гренадеров,
не погубите же их, господа!

И кончен диспут:

— С Богом, по местам!
Расходятся. И кто-то, заикаясь,
— П-послушай, — говорит, с крыльца спускаясь
за впереди идущим по пятам:
— А как т-тебе х-хозяина жена?
— Наташа прелесть... — и к нему с вопросом:
— Так ты куда?
— Я в эк-кипаж, к м-матросам!
— Напомни, артиллерия нужна...

Полозьев скрип. Негромкий стук копыт.
И затихает невская столица...
Светает. Перевернута страница.
К дверям ломбарда очередь стоит.

1985

Баллада о двух поэтах

Поэт Пастернак и поэт Мандельштам —
при всех их различьях — ценили друг друга.
То были тридцатые годы, а там,
в то время — и это большая заслуга...

Как в точности вышло, нам трудно сказать,
но точно, что встретились два стихотворца.
И стих, попросив Пастернака: — Присядь, —
прочел Мандельштам про кремлевского горца.

И меркнул от слов электрический свет.
И эхо бежало от каждого звука —
теснясь, как озноб от прочтенных газет,
как страх повсеместный полночного стука...

И встал Пастернак, головой покачал,
от бледности ставший смуглее и выше:
— Запомни, ты этого мне не читал,
и я этих строчек, запомни, не слышал!

И сел Мандельштам у окна, где во мгле
метались шершавые крылья метели,
и дырочку вдруг продышал на стекле,
чтоб мы эту сцену в нее подглядели.

Спросил:

— Что же делать, ведь знаем, ведь ждем?
Сказал Пастернак:
— Оставаться поэтом...

И в той телефонной беседе с вождем
он помнил о встрече и медлил с ответом.

Он знал, что был должен сказать, — и не мог.
Он верил, что жизнь — это высшее благо,
и медлил, как Гамлет, оттягивал срок —
молчал, чтоб ответить устами Живаго...

А вождь ухмыльнулся, когда он затих:
«Боится, — подумал, — не хочется в яму,
а мы тут не спи и решай все за них!» —
и жизнь на три года продлил Мандельштаму...

О, если б я сам эту темень сгущал!
Лишь нынче наш век недомолвок лишился.
И вышло, что прав был и тот, кто смолчал,
И тот, кто на дерзкую правду решился...

1985

Хвостов

Когда творцы стихотворений
в трудах не ведают сомнений,
нам анекдот из давних дней
на ум приходит...

В душевной спальной
генералиссимус опальный —
прощался с жизнью своей.

Уже священника призвали,
и граф Хвостов в соседней зале
торчал, как перст, в толпе родни —
с платком в руке, шепча:

«Доколе!

Как жаль, что все мы в божьей воле!
Бессмертны гении одни...»

И думал, как напишет оду
и явит русскому народу
сей скорбный день со всех сторон,
пока завистники, зоилы
на эпиграммы тратят силы...
«И буду — гений!» — думал он.

И мысль уже текла стихами:
«Тоски покрытый облаками,
я о тебе, Герой...» — но тут,
на парной рифме «горний-молний»,
пришел слуга и тихо молвил:
«Их светлость вас к себе зовут...»

Среди подушек в зыбком свете —
лежал кумир и благодетель.
Свеча плыла. Воск пальцы жег.
«Прощай, дружок! Смирись с судьбою, —
сказал Суворов, — Бог с тобою,
и... не пиши стишков, дружок!»

У графа свет затмился разом —
и, потрясен таким наказом,
Хвостов поднялся, весь в слезах,
и вышел вон без разговоров...
Его спросили: «Что Суворов?»
Он всхлипнул: «Бредит, бредит, ах...»

Был граф как человек — не вредный.
Но если б только знал он, бедный,
живя на невском берегу,
что есть в Москве птенец курчавый,
что в паре с нянею лукавой
лепечет первые «агу»...

Вот подрастет, крыла расправит
и графа строчками прославит —
и так и этак — то-то, брат!
Желал бессмертия? Готово!
...Но разве слушают Хвостовы,
когда им дело говорят...

1986

Дождь на Литейном проспекте

Ирина проснулась и встала. Зазвякала штора,
являя рассветный, раскисший от влаги Литейный —
дом в памятных досках напротив, огни светофора
и взгляд человека из окон квартиры музейной.

Он был нездоров (кутал горло), он был старомоден,
похож на кого-то, с унылой бородкою клином...
В таком, так сказать, петербургском (вот именно) роде...
«Наверно, сотрудник музея», — решила Ирина.

И вдруг она вновь ощутила сердечную жалость —
желанье помочь человеку, которому худо.
Ей ночью приснилась тоска и, приснившись, осталась.
Теперь она знала — о чем та тоска и откуда.

Сквозь дождик глухой, морозящий давно и уныло,
хоть в форточку крикни, да там не услышат ни звука,
и это мучением было, на сердце давило...
«О боже, — Ирина подумала, — что там за мука?»

«Действительно, мука, — вздохнул Николай Алексеич, —
долги, корректура, цензура с охранкой в комплоте...
И мыслей тшета — и ничем их не сбить, не рассеять,
печальных, как барышня эта в окошке напротив...

Небось, нигилистка, — подумал, — а время лихое,
вот мы в нем обвыклись, а ей комом в горле, быть может...»
Он даже кивнул ей, махнул ей легонько рукою.
Ирина заметила это, кивнув ему тоже...

А дождик все лил — незатейлив, и мелок, и робок,
сбивался, частил, забывал, что́ с которого края, —
два времени разных приблизив, поставив бок о бок...
Лишь в городе нашем бывает погода такая!

На кухне соседи вели коммунальную свару.
Ирина очнулась, на службу скорей побежала.
И мокрый троллейбус, кряхтя, подкатил к тротуару...
А в доме напротив — Панаева в дверь постучала.

Вскричала: «Ах, Коля, вон там — у подъезда — крестьяне!»
Потом Николай Алексеич, увлекшись сюжетом,
брался за перо, и бросал, и лежал на диване...
Ирина под вечер со мной говорила об этом.

И все, что в тот день — тут и там — не в пример суесловью
рассказано было, а также написано было —
подсказано жалостью было, а жалость — любовью,
той самой, что всех нас однажды в людей превратила.

1985

* * *

Воробей-разбойник засвистал
у плетня, в немыслимой браваре —
в теплые заморские места
соловьев-разбойников спровадив.

Отыскав в пожухлой лебеде
семечками полную макушку —
он грозил сородичей орде,
он округу свистом брал на пушку.

Перышки взъерошил на груди:
«Чур, мое! Чур, нынче я пирую!
Эй, чувырло, чур, не походи!
Я тебе, чик-чик, поозорую!»

Так шумел разбойник у плетня,
но пора пугливых миновала —
через миг там вся его родня,
вся округа пела и клевала...

1986

Комарово

Дачный дом, покинутый людьми.
Все, как есть, исчезли в воскресенье —
с кошками, лукошками, детьми,
с банками компотов и варенья...

Дом еще не верит и беречь
сам себя старается от пыли.
В нем еще поленья помнит печь.
Стены, полки, кресла не остыли.

Но скользит по комнатам пустым
призрак запустенья и развала...
И о чем мы, право, говорим —
с нами, что ли, так же не бывало?

Шелестит впотьмах какой-то сор.
Вдоль забора — голоса прохожих.
Дом глядит с надеждой сквозь забор —
даже мало-мальски нет похожих.

Только сумрак, только дождь и грязь,
да под ветром пляшет, как живая —
перед домом, намертво вцепясь
в бечеву, — прищепка бельевая...

1986

* * *

Вот женщина. Вот комната ее.
Мужчина здесь — диковинное зрелище.
С таким стараньем прибрано жилье —
на кресла край присев, не пошевелишься.

Беседуешь, салфетку теребя,
и чувствуешь себя немного скованно,
хоть виды здесь имеют на тебя
и смотрят — вскользь, но заинтересованно.

Вы пьете чай, и, значит, ты не пьян,
и, значит, блажь в башку тебе не кинется.
Но если к ней присядешь на диван —
наверное, она не отодвинется.

Привычка к одиночеству. Тоска.
Согреешь ли, утетишь ли, намного ли?
На вечер, ночь? А возраст — к сорока...
И помнит всех, кто так же руку трогали.

И глупостями, брось, она сыта...
И жизнью всей, уйди, она ученая.
И неспроста — такая чистота.
И тяга к ней — почти ожесточенная...

1984

Портрет художника

Е. Барскому

Краснощек мой приятель, осанист и рыжебород...
Причеши да одень его в бархат, и в гости — к фламандцам!
В золоченые рамы, где праздник и страж у ворот,
прислонясь к алебарде, завидует яствам и танцам...

Но приятель и сам скипидаром и краской пропах!
Он стоит у холста — и сопит, и мычит без зазрения.
И камчатский пейзаж — первобытный и злой — нараспах
из-под кисти растет, разверзаясь на три измерения...

Вот оно — вдохновенье! О, лишь не спугните теперь!
Тихий ангел — жена разложила закуску по блюдам.
Кто-то в дверь постучался, гостями распахнута дверь!
Он:
— Я занят! — рычит, и под нос: — Ничего, перебьются...

Если б я был художник, я б сделал, наверно, портрет,
где приятель сидит у картины со стопкой портвейна,
а другою рукой обнимает жену... впрочем, нет —
это было уже у голландца, Рембрандта ван Рейна...

Ладно, пусть остается рука на плече у жены,
пусть он машет другой, вдохновенно бурча о работе,
я гляжу на нее — даже кисть отложив, сведены
ее пальцы все той же привычной и цепкой щепотью.

Разойдемся во мненьях, стаканом о стопку звеня —
под камчатским пейзажем, где катышки пепла на пемзе...
Как он спорит, собака! И все же он любит меня,
я не знаю, за что — но по сути плачу ему тем же.

1985

* * *

Третье лето, махнувши рукою на юг,
на Камчатку с мольбертом летает мой друг
над просторной строною,
и рисует пейзажи, и писем не шлет.
Я бы тоже слетал, только мне не везет —
то одно, то другое...

А недавно картину он мне подарил,
словно дверь в недоступную даль отворил —
в край державы и света.
Был суров и тревожен камчатский пейзаж:
склон вулкана в тумане и солнца вираж
ярко-рыжего цвета...

Я прошел в эту дверь уж не ведаю как,
заскрипел под ногой вулканический шлак,
осыпаясь по склону,
и белесое облако, свет заслоня,
в свое влажное чрево втянуло меня,
будто рыба Иону...

А когда развиднелось опять предо мной, —
вся страна необъятно легла за спиной
и за кратером диким,
ощутив адской серы тоску и дурман,
я увидел, как берег грызет океан
именуемый — Тихим...

А потом я представил и тот Новый Свет,
где включают корейскому «Боингу» вслед —
все радары Аляски,
и все правят в камчатское небо маршрут,
и пари заключают: собьют — не собьют, —
вплоть до самой развязки!

И тогда с края света я — Свету тому! —
прокричал, что есть силы, в гремучую тьму,
жаль, услышат едва ли:
— Не прошу, чтоб вы хлопали нас по плечу,
лезли с дружбой, хвалили, я только хочу,
чтоб вы нас понимали!..

1985

* * *

В электричках утром теснотища —
стой, не охай, вплоть до Ленинграда...
Сотня выйдет в Колпине, и тыща
снова влезет — всем куда-то надо!

Набежит, с перрона в тамбур хлынув —
мокрый вал беретов, шляп, косынок!
И в лицо — охапку георгинов,
в белой марле едущих на рынок...

И опять мелькает мгла сырая.
Долго длится время поездное...
Где же ты, попутчица бывшая?
Возвратись, встань рядышком со мною!

Возвратись — волненьем отозваться,
как тогда, в студенческие годы.
Нам бы на природу любоваться —
но так тесно, что не до природы...

Дни летели, зыбкий снег роился
следом до Московского вокзала...
Я сказал ей: «Я в тебя влюбился...»
Но не вспомнить — что она сказала.

Не услышать, как в кино без звука.
Перегон. И снова остановка.
Как ее название — Разлука?
— Нет, — ответят люди, — Сортировка...

Георгины смотрят на названия —
им-то, им-то, бедным, что за дело?
Тридцать километров расстоянья —
и вокзал!

Полжизни пролетело...

1983

* * *

Художник, штурман, инженер,
писатель, милиционер
иль просто человек красивый
и добрый — Бог весть почему...
Вот эти рядом, а к тому —
тянуться через всю Россию!

И это всё мои друзья —
те, без которых мне нельзя
и дня представить, холодея.
Мне взгляды их и голоса —
как для пернатых небеса,
как твердь земная для Антея!

Меж тем летит за годом год.
Махну рукой, коль повезет
порой вечерней или рассветной —
в трамвае, в давке, кое-как:
— Ты где?

— Да там....

— И как?

— Да так...

И на прощанье взгляд приветный.

Всяк выбрал ношу по себе.
Почти у всех и по семье —
и тянут, тянут на пределе!
А кто-то даже, посмотри,

уже развелся раза три...
Да и о чем я, в самом деле!

А жизнь спешит во весь опор —
ухабы, рытвины, сыр-бор! —
когда ж тут оглянуться, право?
Но оглянись, и меж людьми
они — друзья! А отними —
лишь одиночества отрава...

1987

* * *

В. Ведякину

Распроставшись с вокзальной Москвой
и постель приготовив на полке,
я почувствовал, тронув рукой:
заполняется сердце тоской
и щемит от незримой иголки...

Пару дней у друзей прогостив,
жизнь чужую к своей приближая,
я вдруг понял, плафон погасив,
под негромкий колесный мотив —
никакая она не чужая...

И, Калинин ночной миновав,
все не мог от нее отстраниться,
и не в силах был встречный состав
заслонить, пролетая стремглав —
москвичей моих милые лица...

Я рукой проводил по глазам,
засыпал и опять, просыпаясь —
все завидовал темным лесам,
убегавшим к столице, и сам
все оглядывался, улыбаясь...

И всю ночь по осенней стране —
к Волочку, Бологому, Любани —
так и ехал на нежной волне,
имена дорогие во сне
повторяя одними губами...

1985

* * *

Выходит в тамбур человек —
с лицом угрюмым, с тусклым взглядом
из-под опухших красных век —
сопит, встает со мною рядом.

И курит, и глядит в окно —
бегут столбы, несутся дали...
Я с ним знаком был, но давно.
Давно друг друга не видали.

И вот — увиделись. Молчит.
Не узнаёт. И мне неловко.
И встреча кажется на вид
нелепой, как инсценировка.

Каким же сам я стал, когда
судьба его так изменила?
Не знаю... Вытерлись года.
Бесследно выцвели чернила.

Стоит, как контрабас в чехле.
Молчит. Могло ж такое стать!
В его глазах, как на стекле,
написано: «Не прислоняться»...

1986

Тюльпан

Купил тюльпан в киоске. Сел в вагон.
Тюльпан был вял, простужен, потому что
зима еще не кончилась, а он
к нам прилетел из города Алушта.

Мой взгляд, слегка сощурясь на соседке —
студентке, — погулял под потолком
и, завершив гуляние цветком,
привычно ограничился газеткой.

Но что-то мне мешало без конца,
мне сбоку что-то красное мигало,
звало и от газетного столбца
намеренно и нагло отвлекало.

Поднял глаза — и что же? Мой тюльпан, —
согревшись и раскрывшись ненароком,
и подбоченясь, словно польский пан,
к соседке повернулся — карим оком!

И видимо от этой ерунды
студентка засмущалась, а виновник
весь изогнулся — страстный, как любовник! —
и жарко,
знойно выдохнул:
«Воды...»

Я отдал ей его, как бы шутя.
И долго думал вечером за чаем:
«Мы все великих ждем чудес, хотя
и маленьких
порой не замечаем...»

1983

Возвращение

В полночь, за полночь чай. Поцелуй на прощанье в дверях.
Уговор, чтобы нам обязательно встретиться в среду.
Вы постель разберете, а я на вокзал второпях
прибегу, вы погасите свет — от перрона отъеду...

Стану думать о вас — в электричке на полном ходу...
Первый сон к вам придет — я черту городскую миную.
Сон второй к вам придет — после Колпина в тамбур пройду
покурить, погрустить, позаглядывать в темень ночную.

И когда третий сон вам настроит свои бубенцы,
я в Поповке сойду и — для вашего сна нереален —
по аллее пройду, где кузнечики, как кузнецы,
все на свете забыли у звонких своих наковален.

И увижу окно, где неяркая лампа горит,
где за форточкой штора колышется, словно живая, —
это мама моя снова, значит, над книжкой сидит,
или гладит белье, или дремлет, меня ожидая...

1983

Книжный киоск

В стеклянном скворечнике мама сидит.
Ей дождь застарелую хворь берedit.
И в каплях стекло, и прилавок пустой...
Лишь «звезды экрана» спят красотой.

А утром к скворечнику книжки хватать
валил покупатель — орлиная статья.
И лезли в окошко — то шляпа, то локоть,
и трешки, и хлопанье крыльев, и клекот!

Когда же, лохматый и грустный такой,
заглянет любитель и спросит с тоской:
— Есть томик, что вы поутру продавали?
— Едва ли, — вздохнет моя мама, — едва ли...

Но из-под прилавка, точнее из угла,
достанет последний, что мне берегла...
А после глядит, как счастливец пошел...
Хоть дождь прекратился — и то хорошо!

1984

* * *

В. Рекшану

Укачало девчонку — страдает, оставлена всеми.
И ночной океан, как ей кажется, ходит по кругу.
Но плывет теплоход вперевалку — на север, на север...
И проносятся волны, косматясь, — всё к югу, всё к югу...

В чем она виновата, ни в чем она не виновата.
Сердобольным зевакам бормочет: «Уйдите, отстаньте!»
Молодую жену от родительских окон Арбата
к месту будущей службы везет молодой лейтенантик!

Ах, ему самому еще жмут сапоги, и погоны
еще так непривычны, и мысли — полны недомолвок!
Он придет, посидит — и спускается вниз, удрученный,
к холостым однокашникам жметя — ершист и неловок...

И еще неизвестно, как встретят их там Командоры!
Где не Юрий Сенкевич покажет им жизнь без рисовки!
Этот кожаный плащик ветрами обтреплется скоро.
И едва ли придет «Адидас» запасные кроссовки...

А ночной океан — нет, не тихий, нет — вспаханный ветром! —
не жалея ничуть о смешных теплоходных скитальцах,
этой юной москвичке, сверкая под палубным светом,
предстоящую жизнь, как немой, объясняет на пальцах!

И она, вся в слезах, в маскировочной мужниной куртке —
до утра со скамейки глядит на холмы водяные...
Жгутся мысли ее и летают в ночи, как окурки —
что бросают в окно из кают пассажиры иные...

1985

Баллада о живой воде

Если прожил полжизни и словно не жил —
жаль, что дорого стоит, а то бы
я тебе на Камчатку слетать предложил!
Там до Мильково ходит автобус.

А потом на попутку закинь барахло —
и наутро приедешь на место,
и увидишь — лежит близ вулкана село...
То село называется Эссо.

И живут в нем эвены и прочий народ.
И бассейн, голубой и горячий,
в самом центре села — заходи круглый год!
Клубы пара да гомон ребячий.

Кто-то в недра проник за живою водой
и устроил там чудо такое...
Раз макнешься в бассейн — и опять молодой, —
вот воды этой свойство какое!

Два макнешься — и сразу захочется жить
так, как только на свете и стоит!
А уж трижды.... Но помни, не надо спешить,
вдруг тебя и два раза устроит!

Потому-то средь тамошних жителей всех —
столько добрых, и щедрых, и чутких!
Жаль, автобус до Мильково лишь, как на грех,
и — ужасно трясет на попутках...

1985

* * *

Ю. А.

Дивный нечаянный праздник верша,
спи, я нежней этой просьбы не знаю,
рядом со мной безмятежно дыша,
спи — несравненная и неземная...

Приподнимаясь на локте во тьме,
дай разглядеть твои губы и щеки,
эти ресницы, и веки, и те —
в жилках голубеньких слабые токи...

Вновь накатило, невольно слезя
зренье мое, не привыкшее к свету,
что-то, чего и сказать-то нельзя,
что-то, чему и названья-то нету...

Но до утра, нараспев, как листва,
буду шептать обращенные к чуду —
легкой нездешней повадки слова —
те, что и днем я не сразу забуду...

1987

Яблочное место

Два мальчика — по виду третий класс —
остановились возле перекрестка.

Один спешил налево, а другой
и говорит ему:

— Пойдем направо!

— Зачем, меня, наверно, мама ждет!

— А знаешь ты про яблочное место?

Там вот такие яблоки висят
и нет забора! Хочешь, покажу?

— Хочу. А можно яблоки срывать?

— Конечно, можно. Сладкие, как сахар,
и красные — я десять штук их съел
и не объелся! Можешь и для мамы
в портфель набрать, не жалко!

Ну, пойдем?

— А чьи они?

— Ничьи.

— Пойдем, конечно.

... Я следом шел, мне думалось о том,
что наша жизнь, хотя и быстротечна,
но у любого возраста — своя.
Поди пойми — счастливее в котором...
Один из них доверчив был, как я
когда-то был. Другой был фантазером...

Тут фантазер с дороги повернул
и, подойдя к калитке, громко молвил:

— Ну, я пришел! И ты иди домой!

— Я подожду...

— Как хочешь, я не выйду!

— А как же мы? А яблочное место?

Ты ж показать хотел!

— Я все придумал,

а ты, дурак, поверил! Ну, иди,

чего стоишь? —

и в дом к себе ушел.

Вот вам пример из жизни без прикрас.

Он мне и нынче не дает покоя...

Хотя я знаю, что это такое.

...Два мальчика — по виду третий класс.

1986

Карась

Вот золотой карась, прилегший на бочок
в морозной полынье, как на хмельной гулянке,—
ведром зачерпнут был и пялит свой зрачок,
очнувшись на свету в пятилитровой банке.

Прижился, посветлел, сумел забыть о том,
что есть подледный мрак и заросли густые.
Два месяца живет, мерцая серебром,
и не указ ему — собратья золотые.

Те в темный ил на дне зарылись на ночлег,
до теплых дней ничто из спячки их не вынет,
а этот все глядит, мол, где тут человек,
сейчас, мол, подойдет и мотыля подкинет.

И мы вот так, и мы не помним лютых дней,
где плавали, как он, одышливо и вяло,
в морозной, полынье — уже смирившись с ней,
и всех ее страстей отведав до отвала!

Мы тоже спасены, зачерпнуты ведром
и, значит, вновь живем — задорны и не кротки!
И что нам рок, что тьма со страшным их судом —
наживки и крючки,
 дрова и сковородки!

1988

На берегу



Гость

Гость смотрел на нас с легкой улыбкой
и, граненую рюмочку в рот
опрокинув, закусывал рыбкой
и смешной вспоминал анекдот.

Но чего я никак не забуду —
как он вдруг за столом заявил,
что всю жизнь свою — всем и повсюду! —
только правду всегда говорил!

Он — военный моряк, но в отставке.
И — торговый, но тоже в былом.
Он сказал это — так, для затравки,
чтобы спор поддержать за столом.

Видно, мнилось ему, как ребенку,
что застольные эти умы
закивают согласно вдогонку —
мол, и мы только правду, и мы!

Не лгуны же мы здесь, в самом деле?
В самом деле едва ли лгуны...
Но одни — прежде выпить хотели,
а другим и солгать — хоть бы хны.

А всего интереснее — третьи,
что на рюмочку молча глядят,
потому что давно уж не дети...
И давно уже лгать не хотят.

1990

Баллада о собаке

Отдыхающий гладит собаку — она
уж с неделю к их даче прибилась.
И виляет хвостом, и вниманья полна,
и крыльцо сторожить приучилась.

Рядом ходит весь день. И на пляж, и домой.
И прохожих приветствует рыком,
говоря: «Вот идет мой хозяин, он мой!
И хоть Джеком зовет пусть, хоть Диком!»

Отдыхающий знает, что сам виноват,
вот и прячет глаза, вот и гладит —
приласкал, приручил, не прогонишь назад...
И с тоскою внезапной не сладит.

И с собой не забрать, и на добрых людей
не оставить, смеются: — На што нам? —
И вдобавок завхоз намекнул без затей
про отстрел перед новым сезоном...

Отдыхающий в горле комка не сглотнет,
вот и смотрит: не время ли к чаю?
Вот и шепчет:

— Ты, Дик, потерпи, через год
прилечу, разыщу, обещаю. —

И наутро:

— Ну, Джек, не скучай! — говорит.

И краснеет от собственной фальши.

...За автобусом долго собака бежит —
до окраины самой и дальше...

1990

* * *

Ребенок любит мать, и льнет, и обнимает.
И что она в отце нашла — не понимает.
То занят я, то зол, то дома я, то нет...
О, маменькин сынок трех с половиной лет!

Останусь в няньках с ним — такой чудесный мальчик! —
то чинит грузовик, то в книжку тычет пальчик...
А если и вздохнет невольно от тоски,
то — сдержанно, слегка, достойно, по-мужски.

Но стоит зазвучать шагам ее за дверью,
уж тут у нас конец согласью и доверью —
бежит, не чуя ног, навстречу ей сынок!
Он так несчастлив был, он так был одинок...

Он даже и во сне не может без оглядки,
и голос подает тревожный из кровати
(уж что ему во сне привиделось, бог весть):
— Ты, мама, где, ты тут? — и в ожидание весь.

— Я так тебя люблю... — бормочет виновато.
И я шепчу во тьму:
— Ну а меня, меня-то?
А он чуть помолчит, подумает, потом
ответит:

— И тебя...

Спасибо и на том.

1990

Дар

В метро вечером — на соседский чих
поморщившись и глянув недовольно, —
компанией девиц глухонемых,
беседой их развлекся я невольно.

О, как они внимательно глядят!
Как суетливы пальцы их и лица!
О чем они, безмолвные, галдят?
Их языку нам трудно обучиться.

И все-таки — по быстрым жестам их,
по мимике — я как-то понимаю,
что речь у них о выточках прямых
и о косых, о складочках по краю...

О тряпках речь — о платье, о пальто?
И лица так чудно преображает —
все точно то же самое, все то,
что в женских разговорах раздражает!

Храни нас Бог от важных их проблем!
Но этот вздор на пальцах торопливых —
куда милей и трогательней, чем
у слушающих вполне, у говорливых...

И эта мысль тем более верней
и оттого тем более тоскливей,
что встретить мы здесь глухонемых парней —
речь шла бы о футболе или пиве!

Но если так увечные вольны
трепаться обо всем с полоборота,
то нам, здоровым, речь и слух даны
для, несомненно, большего чего-то!

Иль это дар напрасный и ничей
и мы живем, принять его отчаясь, —
лишь в качестве вождей иль стукачей
совсем чуть-чуть от прочих отличаясь?..

1991

Баллада о Левке

На нашей «Ликерке» — в кирпичном цеху на Синопской,
где запах такой, что дышать без закуски неловко,
в ремонтной бригаде, в компании ушлой и жлобской
встречал я монтера смешного по имени Левка.

Он был светло-рус, впрочем, нос и очки поневоле
его выделяли, к тому ж — неуклюж до предела.
На емкость со спиртом набрел в раздевалке — и пролил.
— Козел, — говорят, — ну и что же ты, Левка, наделал?

— Какой ты еврей, — говорят в компанейском кураже, —
ведь он же у нас для продажи, ведь грамотный вроде! —
И снова добудут, и с Левкой поделятся даже,
ведь русские люди — добры и щедры по природе.

И вот он добычу во фляжке под голень подвяжет —
но там, в проходной, разбираются в классе рабочем!
Вахтерши обыщут, директор в приказе накажет —
лишением премии, отпуском зимним и прочим...

И ладно б его — вся бригада от этой накладки
страдает у кассы: опять, мол, горим из-за Левки!
Мол, мы-то при чем, мол, у нас-то все в полном порядке!..
И каждый в свои «Жигули» залезает у бровки.

А Левка трусит на в трамвай — и на нем до Марата,
где он в коммуналке жилец коренной, постоянный...
И мне по дороге, вперяясь очками куда-то,
о жизни вещает — такой же нескладной и странной!

Как с отчимом жил он, поскольку отец его сгинул
в «Крестах» или где там (причины неведомы Левке)...
Как, «если б не отчим, попали б и мы во враги», мол...
А отчим был русским — и сгинул на Невской Дубровке...

И вновь о себе: как тогда, накануне блокады,
отправился с теткой под Стрельну разжиться картошкой,
как поле с картошкой вздымали на воздух снаряды
и танки с «крестами» назад закрывали дорожку...

Как прятались в ямах, как всех их погнали оттуда —
за Гатчину, в тыл, по дорогам, от копоты черным,
как немец патрульный спросил у него:
— Ду бист юдэ?
И тетка никак не могла догадаться — о чем он...

Как в псковской деревне искали родню — не успели,
лишь угли от изб, и куда идти дальше, не знали...
Пришли к партизанам. Там зиму провел, а в апреле —
шестьсот латышей их в болота глухие загнали...

Как в штабе решили — детишек в разведку отправить
и Левка прибрел через сутки к каким-то сараям,
где хмурый мужик рассудил — не совсем темнота ведь! —
и хлебушка дал, и отвел пацана к полицаям.

Как, заперт в подвале, он думал по взрослому: «Крышка!» —
и врал на допросе, да, впрочем, и знал очень мало...
И вновь:
— Ду бист юдэ?
— Я русский! — заплакал мальчишка.
И вновь пронесло, обошла его смерть, не признала...

...Потом лагерь в Порхове — грязные нары в бараке
и красное «Р» (партизан!) — на груди и штанине...
Разборка развалин. Споткнувшихся рвали собаки...
И как он там выжил — не может понять и доньне.

Он даже бежал, под колючкой пролез — и вернулся.
Смекнул, что в кустах от овчарок спасется едва ли...
Эстонец-охранник его пожалел — отвернулся.
А после — и вовсе батрачить к эстонцам отдали.

Потом заболел – повезли на телеге куда-то,
очнулся в больнице — за окнами Таллин в тумане.
И врач — мать артиста, по фильмам известного, Плятта —
к себе забрала, от облав укрывала в чулане...

Я слушал его, и не верил, и нынче не верю:
не в матушку Плятта, а в дивную эту везучесть,
от стольких смертей уносящую, как по тоннелю —
сквозь горе и зло, как на выход, на лучшую участь!

Иль это Господь был так ласков к нему, недомерку —
берег, выручал, наблюдал с облаков благосклонно?
Ведь даже, дождавшись своих — угодил на проверку,
а там и в Гулаг — но под Лугой сбежал с эшелона!..

И вот она, участь! В родной коммуналке старея,
монтерит тихонько в кирпичном цеху на Синопской,
где русские люди не держат его за еврея —
и терпят, жалеют — в компании ушлой и жлобской...

Один на всем свете! И пенсии срок недалече!
И время такое — едва ли кто в нем разберется!
И в тесном трамвае — пугается, слушая речи,
в которых виновники всех наших бед — инородцы...

И думает зябко: не стало б и более худо!
В войну пронесло, а сегодня, сейчас — пронесет ли?
На улице спросят:
— Еврей? — как тогда: — Ду бист юдэ? —
и наземь сползет, распуская кровавые сопли...

1991

* * *

Эмиграция — это как аэростат,
легкой тенью скользящий по долам и весям...
Не у всякого хватит отваги на старт,
но в душе-то мы все — легче воздуха весим!

Но в душе-то мы все — к суете и тщете —
год за годом угрюмые копим вопросы!
И незримые узы нас держат, как те —
из капрона и джута манильского тросы...

И когда слишком пасмурно в нашем краю,
как не слышать вестей, что на западе где-то —
есть места, где от света светло, как в раю?!
И становится много — поверивших в это...

И уже — раздувается прочная ткань,
и горелка — багровым огнем языката!
Это нам они шепчут:
— Прощай, глухомань, —
это нас оставляют за кромкой заката...

И когда бы земля на библейских китах
возлежала — бескрайнее плоское блюдо, —
за рискован полетом в чужих небесах
мы бы долго еще наблюдали отсюда...

Но поскольку круга она — дальше молчок.
Провожаящим можно в дверях не тесниться...

Можно ехать домой и — в постель на бочок,
чтобы было кому улетевшим присниться.

Чтобы было кому их посланья читать —
их восторги, их байки о новом уделе!
Чтобы было к кому им назад прилетать,
там ведь тоже бывает темно, в самом деле...

1992

Фонарь

Фонарь, горящий среди бела дня
над пивларьком и ателье проката,
сияющий на все полкиловатта,
навел на мысли странные меня.

Зачем горит? Ах, да не все ль равно!
Горит — и, значит, где-то вдоль проспекта
на автовышке крутятся давно
рукастые монтеры из «Ленсвета»...

И есть предметы, более уму
любезные — в такую-то погоду...
Но если мы известную свободу
дадим воображенью своему,

то встретимся с античным мудрецом,
что шлялся по Афинам или где там —
с зажженным фонарем в руке, с лицом
насмешливым и, видимо, с приветом!

Дразнил народ, и тот вослед роптал:
«Ужо ареопаг тебе покажет!»
Вот что воображение нам подскажет,
поскольку — кто же книжек не читал!

А ну как вновь какой-то книгочей,
электрик некий в людях усомнился
и на посту, в подстанции своей —
примером древних дней воспламенился!

И свет включил, и сам, как тот мудрец —
среди нас гуляет, вглядываясь в лица...
— Ну где же те монтеры, наконец?
Когда же это свинство прекратится?

1993

Трамвайная баллада

Я не молод уже. Я женат по любви.
Нет сомнений в душе. Нет волнений в крови.

Но в трамвае ночном, что спешит на кольцо —
вдруг почудится сном незнакомки лицо.

Да не сон ли и есть — до того хороша,
даже глаз не отвести — отвожу не спеша.

Отвожу, прохожу, приключений не жду.
У окошка сижу на соседнем ряду.

Но и там, и сквозь вид Петербурга во мгле
ее профиль летит, отраженный в стекле...

Ах, что думать о том! То ли дело — семья.
Вот уже, за мостом, остановка моя.

Вот и вышел, сутол. Все-то правильно, мол,
Вот уже и свернул. Вот уже и пришел.

Но все чудится мне — кто-то, схожий со мной,
позади — в тишине остановки ночной.

И стоит он молчком — озирая квартал,
силясь вспомнить, о ком он полжизни мечтал...

Вот как вспомнит — о ком! Как рванется вослед!
За трамвайным звонком — на тускнеющий свет.

До угла добежит. И отстанет с тоской.
Так он там и стоит. Одинокий такой...

1993

Сорока

И подслушала новость сорока в лесу.
Про кого? Да не важно! Да хоть про лису!
Ей слетать бы, проверить — а вдруг это склока,
вдруг — неправда! А правда — так, может, не вся,
доверяться всему, что услышишь, нельзя...
Но уж больно болтливая птица сорока!

Замелькала крылами в лесной тесноте,
понесла эту новость на длинном хвосте...
Дятлу все рассказала, а тот и слукавил,
обещался молчать, а исчезла едва —
он сосне и отстукал словцо или два
и для складности сам три словечка добавил...

Этот стук понесли вдоль оврага ручьи,
а там уши торчком — и неведомо чьи!
Через час о лисе говорили далёко...
И когда повстречался с сорокою лось —
ей такое о рыжей услышать пришлось!
Но уж больно болтливая птица — сорока...

Замелькала крылами в лесной тесноте,
понесла эту новость на длинном хвосте...

1992

Миша

Познакомьтесь, вот это собака, зовут ее Миша,
и хотя она — Маша, но в детстве была медвежонком...
И на женское имя с тех пор не оглядывается, как бы не слыша,
что уже говорит о характере — своенравном и тонком.

И хотя она любит с мячом играть, на спине кататься,
а еще умильно вилять хвостом в ожиданье лакомого кусочка,
но, как дама уже почтенная, со своими мнениями
заставляет считаться —
и это касается всех нас, включая сыночка...

И когда на заду он едет с горки и будет рукав
вот-вот распорот —
она ему громко читает нотации и хватает за ворот,
принуждая беречь одежду, ведь это —
уменьшает количество денег на пищу,
выделяемых из бюджета.

И похоже, ей тоже ясно, что нынче не покушаешь даром —
даже сделав выбор правильный меж Зюгановым и Гайдаром!
И наслушавшись по радио с телевизором разных речей,
смотрит косо на всех этих сволочей...

Впрочем, злиться она умеет лишь на черную пуделицу,
и когда она ее чует на лестнице — все вздымается в ней
и дымится!

И она — в коммунальном духе! — всласть облаивает эту суку,
чтобы то, что здесь чуют по запаху, знали по звуку...

И конечно, она далека от политики, но, являясь домашней,
вместе с нами все время думает — как прожить?

И если знает, что есть кастрюля, где на донышке
суп вчерашний —
ей хочется его заслужить!

Хочется, чтобы за дверью кто-то делал напарнику знаки
и она подбежала бы к двери и сказала бы громкое: «Гав!» —
то есть если там кто-то думает, что в этой квартире нет собаки, —
он не прав!

Но уж если за дверью не пахнет ни воровским, ни пьяным,
и уже гаснет свет в комнатах, и стихают речи —
она приходит, когтями цокая, и укладывается под нашим
диваном,
и во сне вздыхает, ну просто по-человечьи!

Потому что во сне она тоже — и служит, и воображает.
И жену мою она ценит, и, как женщина женщину, уважает.
Что касается сына, то дети есть дети...
А меня она любит — за то, что я есть на свете.

1993

Разговор с инспектором угрозыска о поэзии

Я был ограблен. Сей прискорбный факт, когда в себя пришел я еле-еле, рассмотрен был в Дзержинском райотделе сотрудником — уже в летах и в теле и со значком нагрудным за юрфак...

И вот, когда была соблюдена
обычная при этом процедура
вопросов и ответов и со стула
я собирался встать, поскольку дуло
мне в спину из раскрытого окна —
я на пол книжку выронил, Катулла...
Была беседа наша продлена,
и темой стала в ней литература!

Мы обсудили всех, за кем следил мой собеседник. Должную оценку все получили — вплоть до Евтушенко... — Асадова, — сказал он, — я б убил!

— А кстати, — он сказал, — вот этот дом, —
и пальцем указал куда-то на пол, —
хотя и занят прозою, однако,
когда ваш Бродский
перед тем судом
у нас сидел, скажу начистоту,
он в камере писал стихи такие,

что до сих пор я помню кой-какие!
Вот, слушайте!

Я вам сейчас прочту!

Я слушал, как читает — с выраженьем —
стихов ценитель и законов страж.
Но слух мой был воспитан окруженьем:
а в нем, увы, о Бродском с восхищеньем
речей не шло — кумир он был не наш!

Других мы в первом числили ряду —
и сам тот фарс, раскрученный до драмы,
мне был знаком, как всем, из стенограммы...
Она была средь пишущих в ходу.

А чтец читал и смаковал детали...
Потом сказал:

— Такое сочинить
мог лишь поэт, а графоман — едва ли!
Я думаю, за камеру в подвале
он должен нам признательность хранить!..

И тут я заглянул ему в глаза —
а в них, дрожа, как ясная слеза,
жила влюбленность, равная лицейской,
и правой той дышала милицейской!..
И понял я: тут возражать нельзя.

— О да, — сказал я, — он ее хранит, признательность, он ею долг свой мерит. Он и сейчас — из тамошних Америк! — большое вам спасибо говорит...

Я вышел из милиции во двор.
По улице Некрасова спустился
к Литейному проспекту. День садился.
И все не забывался разговор.

а может быть, он прав?

Чем хуже жить поэтам, тем им лучше!
Писать стихи в застенке, а не в люксе —
людские наши слабости поправ,—
вот где талант раскроется, поправ!..

И разве не резон предположить, что кровный долг охранных учреждений — первейший долг! — мешать спокойно жить талантам нашим? Можно предложить строительство тюрьмы для пробуждений достоинств поэтических — она должна быть очень строгого режима — а то какой же гений без зажима, — чтоб пайка в день и очередь для сна!

Пусть ошибутся, наломают дров,—
зато Россия, ото сна воспрянув,
прочтет взхлеб немало чудных стрóf,
зато совсем не станет графоманов!

И вот постскриптум:

через двадцать лет
готов я обнародовать секрет
беседы давней, ибо я не вечен
и Нобелевской премией увенчан
Иосиф Бродский — и не без причин!

Ну, значит, прав был — милицейский чин...

1975, 1995

Баллада о пластиковом пакете

Парень спит в вагоне метро, обнимая пластиковый пакет —
на котором красивую женщину обнимает мужчина,
улыбаясь так, будто знает большой секрет...
Но и парень во сне улыбается — небеспричинно.

И не в том причина, что левая парня рука —
с лаконичной, армейской, наверно, наколкой «Вова» —
невзначай, мизинцем ствол пальмы согнув слегка,
оставляя WELCOME, скрывает второе слово!

Все равно это место — не в Пупышеве, и не во Мге
или где он там был, на каких это грядках райских
отдыхал сегодня, и глине на сапоге
далеко до почв канарских или гавайских.

И само приглашение — скорее для поп-звезды,
для банкира, для киллера, а ежели нет сноровки,
остается жизнь, вроде этой — в метро езды...
Где мы все и едем — к неведомой остановке.

Но так странно видеть, как Вова другой рукой —
на картинке дивной весь план и сюжет меняет!
И уже под пальмою воздух вдохнул морской,
и мужчину от женщины медленно отстраняет...

Отстраняет молча, нависнув над ним, как бык!
И мужчина улыбку гасит, почуяв силу,
и уже растерян — он к этому не привык,
и кого-то за кадром просит убрать верзилу!

И загар бледнеет — знай наших, такой чудак!
Бодибилдинг — тьфу, — рядом с нашей косой саженью!
И что все происходит с Вовой именно так —
по губам его видно, по всему лица выраженью...

И красивая женщина к Вове — ну так и льнет!
И бокал ему свой протягивает — с соком манго или папайи...
И когда он рукою левой его берет —
к слову WELCOME и впрямь добавляется — TO HAWAII!

И уже что-то шепчет ей, просит оказать ему честь —
к ним на дачу приехать, на радость жене и теще...
Свет плохой в вагоне, и в точности не прочесть —
это ль он шепчет ей или же что попроще.

Но когда бы фотограф во сне поспешал быстрее,
ах, как Вова смотрелся б всем видом своим открытым —
рядом с этой красавицей на пакете пластиковом, ну —
ей-ей! —
не все ж нам завидовать только жуликам да бандитам!

Вот — проснулся, глазами захлопал, к выходу отправился,
отрешен.
И красавец с красавицей с ним, и весь сказочный рай их!
Был во Мге я и в Пупышеве — летом там хорошо.
Хорошо, наверно, и на Гавайях...

1999

Про жизнь

Вот женщина — в ночи, в горсти
судьбы железной — спит, как птенчик...
Как птенчик — глаз не отвести.
И ауры над нею венчик...

Спит, отвернувшись от своей
судьбы — спиной к дневным заботам,
делам, проблемам дочерей,
долгам, счетам и что еще там?

Лицом к стене, а там — портрет,
где муж, погибший в одночасье,
глядит с улыбкой столько лет,
не зная о своем несчастье...

Спит женщина. Под сенью век,
во сне, смилившемся с утратой,
ей виден некий человек —
желанный, но, увы, женатый...

Там болен сын. Там пьет жена.
Там тьма проблем и страх разрыва...
А ты понять его должна,
ведь ты умна и терпелива...

Хоть с боку на бок повернись,
хоть сон ночной забудь с рассвета...
Вы спросите: и это жизнь?
Увы, и это жизнь, и это.

И, к берегу своего житья
топча осенней ночи жижу,
лишь одного не знаю я —
зачем же я все это вижу?

К чему сочувствия мои?
Остановите, урезоньте!
Пусть хоть старинный друг семьи
возникнет там на горизонте.

Привычный с нею быть на ты —
возьмет вина, цветочков купит,
и доберется до черты.
и, не заметив, переступит.

Пусть переступит, пусть рискнет...
Она смутится и заплачет.
Она к нему на миг прильнет.
Но это ничего не значит...

1996

Баллада о чуде

Что там брезжит у нашего дома —
вроде облачка или фантома?
В наши окна глядит, в наши лица...
Поглядит — и во тьме растворится.

А чего и глядеть-то, ей-богу,
научились мы жить понемногу:
все в покое живем и в достатке —
ни на что, кроме пользы, не падки.

Ибо держится жизнь здоровым смыслом,
равно свойственным чувствам и мыслям,
ибо знают у нас даже дети,
что чудес не бывает на свете...

И сидим мы с вином или чаем,
и внимания не обращаем,
телевизор включив ненаглядный, —
кто там хлопает дверь в парадной?

Между тем, никому не знакомо —
вверх по лестнице нашего дома —
неизвестно, зачем и откуда,
несказанное близится чудо.

Вот и чудится нам, но не четко —
то ли старого друга походка,
то ли туфельки нежной подруги
по ступенькам взлетают, упруги...

И забытые дивные вещи
вспоминаются ярче и резче —
чувство счастья, сердечная смута,
светлый день, золотая минута...

И глядим мы в глазочки дверные,
но пустынь площади ночные,
и слезятся глаза, как от дыма,
а оно-то все — мимо и мимо...

Мимо окон и матерной строчки,
мимо полых шприцов в уголке,
мимо лестничной кошки пугливой,
замурлыкавшей вдруг и счастливой...

И звонок уже там раздается,
где кому-то, как нам, не живется!
И за что ему это, не знаем,
как смеялись над ним, вспоминаем,

как учили: живи, мол, как все мы,
мол, не делай из жизни проблемы,
мол, на свете чудес не бывает!
Вот спешит он, вот дверь открывает...

1997

* * *

Привычка дивная — умение «на вы»
общаться в обществе, где мы свой гонор высим,
а не с начальством лишь, где полон рот халвы
и тыкнуть боязно — мы от него зависим.

Уж не от рабства ли — с монголов и татар —
в наследство взяли мы бесцеремонность эту?
Ишь, как мы тыкаем друг другу — млад и стар,
и с хамством маемся, и в спорах толку нету...

А, ростом с мальчика, известный наш поэт —
из лучших нынешних — взял в правило когда-то
и только выкает. И мы с ним столько лет
«на вы» общаемся, а не запанибрата.

А ведь и ценим же, и любим, и зовем
солидно, с отчеством — и нет в нас пиетета...
Зато как вежливы, как сдержанны при нем,
как на воспитанность почти похоже это!

И взять хоть Англию — там «ты» не говорят.
Нет в языке у них такого обращения.
И все там здравствуют, и многое творят
получше нашего, и стоят восхищенья!

Давайте ж пробовать не преступать черты.
«Большое видится, — Есенин прав, конечно, —
на расстоянии», — и, значит, слово «ты»
мешает виденью...

А время — быстротечно.

1997

Дядя Витя

Дядя Витя монтер был опытный, и партийный, и из народа —
молчаливый такой, безропотный, но со странностью
раз в полгода.

Так, в дежурке рукою правою сигарету зажмет в щепоти:
— «Ой, рябину, — слышали, — кудрявую!» Это ж я написал,
на флоте.

Мол, еще молодым, при Сталине, сочинял стишки на линкоре.
Мол, украли на базе, в Таллине, у него тетрадь в коленкоре.

Мол, хранил все стишки в тетради он, мол, о строгом забыл
режиме...
А теперь их поют по радио — под фамилиями чужими!

И глаза голубые, тусклые. И стоит на своем, как стенка...
И «Войны, — мол, — хотят ли русские?» — никакой, мол,
не Евтушенко!

— Кто ж украл? — Отвечает:
— Мафия...
Мол, к чекистам ведут все нити!
Грустноватая биография получалась у дяди Вити.

Мы-то слушали, чай заваривали, — не оспаривали, курили.
Но у шефа с ним разговаривали. И в парткоме его журили.

Но от общей такой симпатии только выше жар поднимался!
Сам ЦК родной нашей партии его жалобой занимался.

Забирали его с подстанции — в строгом черном автомобиле,
в очень строгой одной инстанции — о последствиях говорили.

Только зря аргументы тратили, дядя Витя их не услышал.
Помолчал до дней демократии —
и из партии громко вышел!..

А потом понеслись события — к новой власти и новой жизни!
Оказались мы с дядей Витею — в самом диком капитализме.

Не в порту мы с тех пор, а в «холдинге»! Жизнь другая,
работа та же.
Тут-то он и начни — на полднике — вновь твердить
о старинной краже...

Слесаря ль его раззадорили, сам ли вспомнил и стал неистов?
Новый шеф узнал — и уволили. Сердца нет у капиталистов!

1997

Ломоносов

В бороде из сосуллек, с Дед-Морозом заморским схож,
в Петербург январский приплыв на предмет разгрузки,
сухогруз под мальтийским флагом в Турухтанный
вплывает Ковш...

MICHAILS LOMONOSOV — на борту его написано
не по-русски!

По-латышски написано, что ли, но кричат с бортов морячки
очень даже по-русски, концы швартовые майная на берег!
А в трюмах штабеля с коробками — сплошь
куриные окорочки...
Говорят, они очень дешевы в самой сказочной из Америк!

Ах, Михайло Васильевич, Михайло Васильевич, дорогой!
Уж тебе ли, красе и гордости словесности отечественной
и науки,
преуспевавшему в оных поприщах, как никто другой,
до такой стыдобы дожить, до такой разлуки!..

Будто вновь за границей, как в молодости, в рекруты,
сонный, взят,
и ничто не светит, кроме муштры да сержантской палки —
и твое унижение здесь ни один не смущает взгляд...
«Здравствуй!» — скажешь Отечеству, а оно не слышит
в запарке.

А оно суетится со стропами — скорей, скорей!
И хозяин груза похаживает, и охраны — целая свора...

Разучилось Отечество нынче держать и растить курей,
значит, ты перестанешь сюда их возить не скоро!
Так терпи же, гляди, приглядывайся к красе родных перемен,
осеняясь тряпицей красною с белым крестиком посередке!
А купец сей, Михайло Васильевич, называется «бизнесмен»,
и лицо у него припухшее от любви и хорошей водки...

Говорит, что устал, что вроде как отправляется отдыхать —
где то там рядом с Мальтой — в Туретчине или на Кипре...
А Платонов с Невтонами нынче, Михайло Васильевич,
не слышать.

А пииты и вовсе от жалоб на жизнь охрипли.

А купец на товаре прибыльном — приготовил под куш
карман!

Да еще тьма посредников льнет за своим наваром!
И ползет с Маркизовой лужи на порт туман.
И рессоры фур прогибаются под товаром...

То ли век наш нынешний на давешний твой похож,
то ли все времена для понятий гражданственных
слишком грубы...

А ты, батюшка, жди, говорят, за бананами в Африку
поплывешь.

Не кручинься, бананы детишкам российским любы...

1997

Балада о паводке

...Несколько дней назад шли сильные
дожди: теперь из лесных дебрей выкатился
паводок, и вот река вздулась, заливая свои
веселые зеленые берега...

В. Г. Короленко «Река играет»

Время жизни нынешней —

взбалмошной, малахольной! —

всё нет-нет да и чудится схожим с речным бережком
из отрывка прозы, вычитанного в хрестоматии школьной
и запавшего в память — в классе бог знает каком...

Там внезапный паводок моет ветви прибрежным ивам,
лопухи с мать-и-мачехой топит, лодку встряхивает на песке...
И далекий мужик паромщика выкликает к себе с надрывом:
— Тю-ли-н! Ле-ша-й! — в отчаянье и тоске.

И уж так он там мал — вместе с лошадей, возом, бабой —
что похмельный паромщик лишь кивает автору через плечо:
— Вишь, Ветлуга-то как разыгралась! —

с надеждою слабой,
что недолго кричат, что раздумают ехать еще...

А и впрямь похоже играет река Ветлуга!

И вся в пенных клочьях — ну точно как наша жизнь,
где в порядке частном мы так далеки друг от друга,
и в порядке общем — подхватит, так только держись!..

И не мы ли вот так же готовы кричать во всю глотку,
на притопленных сходнях выстроаясь в ряд:
— Тю-ли-н, ле-ша-й!

 Паром давай! Давай ло-дку!
Перевоз давай, ко-му го-во-рят!

А паромщик сбежал — вон, в заречье с лесною артелью
водку пьет у костра, даже песня слышна сквозь мрак...
И все больше в нас злости — к коварству его и безделью!
И все больше средь нас тех, кто знает — что делать и как!

Им река по колено! И сложности все по плечу им!
— Ночевать тут, что ли? —

 А, собственно говоря,
чем паром-то губить, разведем костер, заночуем!
И проснемся, когда над рекою займется заря...

И Владимир Галактионович рядом с нами
 усмехнется в бородку,
протирая пенсне, и вода зазвенит под веслом...
Это Тюлин спешит, гонит к нашему берегу лодку!
А река, как стекло...
 И народу — на целый паром.

1998

Воспоминание

При советском еще было строе...
Глушь карельская. Утро сырое.
Берег озера. Солнечный блик...
И, проснувшись с похмелья в палатке,
удивляясь, что жив и в порядке,
на далекий я выглянул крик.

А он реял над всем Прионежьем —
над сосновым, брусничным, медвежьим —
и похож был на имя мое!
И глядел я со смешанным чувством
на озерную гладь с чьим-то бюстом,
что чернел, шевелясь, из нее...

То мой друг, в капюшоне, как инок,
брел в воде среди листьев кувшинок
и тростник раздвигал и тянул...
И орал, и рыдал от бессилья!
— Что случилось? — в испуге спросил я.
Он лишь всхлипнул:
 — Олег утонул....

Это было сильней анекдота:
мы здесь утром сошли с вертолета,
корчевали под лагерь сосняк...
И начальник, суровый геолог,
был в суровости с нами не долго —
ближе к ночи и вовсе размяк!

Спирт служебный принес к нам в палатку!
Через час и я рухнул с устатку,
Мишка гостя пошел провожать...
И конечно, служебного спирта
было налито вновь и испито —
чтоб друг друга сильнее уважать!

Вот они и поплыли по пьяни —
порыбачить в рассветном тумане!
...И плеснула вода за бортом.
Друг мой глядь — поплавок не ныряет.
И вдруг понял — меня не хватает!
(Так он мне и расскажет потом.)

Собутыльник лежал в клипперботе,
говорил:

— Зря вы, Миша, орете, —
и тяжелой мотал головой, —
не найти без багра Левитана!
И так дико все было и странно...
— Мишка, — крикнул я, — вот я, живой!

Этот случай — с тех пор и доныне —
я храню для себя на помине,
рядом с шансом пропасть ни за грош!
Вдруг — никто и не вспомнит, расстроен...
...То ли строй тот был лучше устроен,
то ли спирт так теперь нехорош!

1998

Париж

Н. С.

В ночь ядреных налили чернил.
Весь пейзаж в окне — в чернильной жиже.
Вдруг звонок, приятель позвонил.
Говорит:

— Наташка, я в Париже!

В трубке шумно.

— Что, — спросила, — где?

В самый раз звонок, под настроенье,
под ночные мысли о нужде
и под хлябей мартовских струенье...

«Вот и этот, ясно же вполне,
электричку прозевал, бедняжка,
вот и вспомнил, ладится ко мне!
Ну и ночь», — подумала Наташка.

— Вруша ты, — сказала, — брось шутить!
Где ты? На вокзальной остановке?
За такси-то хватить заплатить?
— Нет, — кричит, — я здесь в командировке!

Удивилась. Может, и не врет...
Вот вам и везенье — для контраста!
— Ты надолго?

— Через день отлет!

Что там слышно в Питере, у вас-то?

— Ах, — сказала, — на работе бред,
сын простыл, и нет ненастью края...
Слышно плохо, это связь?

— Да нет,
Это я тут, в городе, гуляю...

— Ой, а где? —

и тоном короля
он сказал:

— Чтоб не считала врушей,
это Е-ли-сей-ские По-ля! —
и подвинул трубку:

— На, послушай!

И тогда весь этот шум и гул,
за вокзальный принятый сначала,
к ней и впрямь приблизился, прильнул —
даже, слышно, музыка звучала!

И она представила Париж —
недоступный, дальний, карнавальный,
и мосты, и черепицу крыш,
и бульвар до арки Триумфальной!

И лохматый чудился каштан,
и его сиреневые свечи!
«О, Paris!» — как пел нам Ив Монтан...
— О, Париж! — вздохнула, сдвинув плечи.

И потом, закончив разговор,
долго вновь глядела, как снаружи

льет желток в чернила светофор
и фонарный свет стекает в лужи...

Сосчитала деньги. Денег нет.
И зарплата в пятницу, не ближе...
И легла. И выключила свет:
— Вот и побывала я в Париже!

1999

* * *

Поэт, затерянный в полночной тьме, как Бог,
доволен тем уже, что вовсе не темна,
что вверх распахнута и там, вверху, — как стог,
лучами колется и трепета полна...

Какие мысли там парят, какие сны —
во тьме величественной, зыбкой, ледяной! —
над жизнью суетной до звезд вознесены
от сосен Ладоги до Балтики ночной...

И как иначе бы могли вы объяснить
исчезновение их?
Не вспомнить поутру,
что снилось, думалось... Оборван кончик, нить...
А сон затейлив был. А мысль вела к добру.

О бесхозяйственность, о ненадежность уз!
Ты чье, видение? Эй, грусть, ты чья?

А там:

уже отчаялись, уже легли на курс —
вдогонку лайнеру — в Париж иль Амстердам...

Лишь вдохновению коснуться их дано —
ничейных, реющих над строчками огней,
над шпилем с ангелом, — и, возвратясь в окно,
все, что напишется, — подсказывать верней.

Не удивляйтесь же, когда — среди стихов —
вдруг что-то близкое почувствуете в них!
От ваших дум они, они от ваших снов —
и самых горестных, и самых золотых...

1998

Домашнее сочинение

Ребенок пишет сочинение —
сопит, пыхтит над каждой строчкою:
осмысливает приключения
Гринева с капитанской дочкою...
Ему куда как скучно, муторно
в их судьбы сложные заглядывать.
Он из-за них лишен компьютера,
досуг он должен свой откладывать!

Ему своя судьба — как мачеха.

И я:

— Читай, — рычу, — я слушаю! —
а сам-то вижу, что у мальчика
есть много общего с Петрушею.
Ведь недоросль, подумать ежели,
и льнет к забавам ерундовым...
Его мы слишком долго не жили,
а надо б — как отец с Гриневым!

Вот и сидит он так расслабленно:
хитрит, глядит как бы страдающе...
«Попалась Маша в лапы Швабрина...»
Да, Швабрин — это сволочь та еще.
И чем не голубей гоняние —
все эти файлы, сидиромы!
А впереди — времен зияние,
и тучи всякие, и громы...

А ну как там в мое отродие
уставит жизнь хмельные зенки:
«Боишься, ваше благородие?
Небось, душа ушла в коленки?!»
И что — не струсит, не откается?
Ведь парень все же, а не девица!
Коль здесь списать не получается,
и там на это — грех надеяться...

Но ежели своим тулупчиком,
случись такая незадача,
в буран — с нечаянным попутчиком! —
поделится, о том не плача,
и ежели решит по совести
свой выбор делать, коль придется,
как юный прапорщик в той повести...
Глядишь, и с ним все обойдется.

1998

Мойка, 12

Александр Сергеевич, сидя в кресле, смотрит во двор из окна.
Видит памятник свой, и сарай каретный, и двери конюшни.
«Ишь, как двор замостили, — думает, — реставрация-то нужна,
но с персидской сиренью было уютнее и воздушней...»

Видит: люди идут через двор, свет в окнах арочных
во втором этаже.

Что-то там, над конюшней, опять происходит, а что —
непонятно...

«Двести лет, Бог ты мой, неужели мне двести уже!» —
с грустью хмыкает, по паркету прохаживаясь туда и обратно.

— Слышь, Никита, — говорит камердинеру, — а что это снова
вон там,
во втором этаже?

— Сам не знаю, барин, а музейщики бают:
нынче там господа-стихотворцы — Комаров, Левитан —
выступают...

— Н-да, — говорит Александр Сергеевич, на что-то сердит.
Трубку раскуривает, на тираж «Современника» смотрит —
давненько вышел...

Арапчонка погладит чернильного, в окно опять поглядит:
— Комаров? Левитан? Нет, не слышал.

1999

Дорожное ЭХО



На семейную тему

Наши жены — женщины трудного поведения,
потому что им хочется внимания, понимания и обхождения,
и чтобы достаток в доме, и любящий муж, и вообще —
почему это он опять не в тапочках, и откуда этот мел
на плаще,
и когда это пьянство кончится, Боже ж ты мой —
и сколько можно сумки с продуктами таскать самой,
и куда он опять намыливается, и при чем здесь друзья?
И в слезы, в слезы — так жить нельзя!

Ах они, Золушки наши, им бы — летать, порхать,
на море отдыхать,
а надо уют поддерживать, свои чувства сдерживать, на
кухне вздыхать,
а если с кем и удастся перемолвить теплое слово бедняжке,
то с заехавшим в гости братом (как в стихе Комарова Сашки),
да еще эти грядки дачные, болезни детей, да еще видение —
утром в зеркале — возраста ряд примет,
и тогда им хочется срочно изменить свое поведение,
но легкого в этом — нет...

Потому что мужья у них — сплошь мужчины
легкого поведения,
обожающие спирт, флирт и разные теплые заведения,
и если жене быть хочется рядом, то — бога ради,
но желательно тихо и на полкорпуса сзади,
и чтобы была умна и красива, и чтобы все говорили:
— О-о-о!
Как ему повезло...

А другой норовит, как на фронте, послать свою дуру
добывать «языка», штурмовать преграду, затыкать амбразуру,
чтобы следом и сам — гордой поступью, с криком «ура»

и так далее —

водружал бы победный стяг, сам себе Егоров и Кантария!
И чтобы вокруг внимание, и рукоплещущий свет,
и не дай бог, если он при этом еще и поэт!..

Тут такие крылья растут и такая легкость:
ангел, ангел, ни дать ни взять,
и не надо его одергивать, повергать в неловкость —
с высоты же не видно, чей там он муж и зять...

А еще есть случаи (в рамках этого рассуждения),
когда перепутываются способы поведения!
И когда ей с тобою трудно — в тебе тоска;
и когда ей легко — так желанна она и близка;
и когда ей порхать хочется — ты без всякой фальши,
разрешаешь ей это делать легко...
И она взлетает, порхает — то ближе, то дальше,
а потом улетает вдруг так далеко,
что сидишь и не знаешь, как, впрочем, не знал и ранее,
как любить такую маленькую женщину
на таком большом расстоянии...

2001

Письмо в Штаты

Поэт Миша Окунь похож на актера Шалевича,
и он к своей выгоде это частенько использует,
и разные девушки к Мише, от сходства шалеючи,
стремятся в объятья — где он их ласкает и пользуется.

А я свою внешность по жизни несу, будто по лесу,
ни с кем замечательным я и не схож, получается...
Но тут мне в толпе прокричали:

— Привет Чаку Норрису!

А Норрис — актер, в телевизоре часто встречается.

Актер он плохой, но владеет крутыми приемами,
вот тут бы и мне не сплоскать, ни о чем не жалеючи, —
хоть плавать, как Окунь, с девицами малознакомыми
я плохо умею, пусть Норрис и круче Шалевича...

И думать не следует, будто бы легкость беспечная
по этому случаю тут же ко мне и нагрянула,
хоть я обернулся и стоечку принял, конечно, я,
но кепочку снял невзначай — и девица отпрянула...

И лысиной бедной клянусь, что стихи несуразные
пишу не о том, что вокруг недостаток внимания,
а только о том, что поэты мы с Мишей — разные,
а также о том, что становится жизнь все туманнее...

Но очень надеюсь, что вы в мои трудности вникнете,
и если в Нью-Йорке вы этого Норриса встретите,
прошу вас: «Привет Левитану!» — вослед ему крикните...
Ничем лучше этого вы меня там не приветите.

2001

Снег

Ю. А.

Этот снег удивительный — мартовский поздний снежок,
золотой мошкаррой замелькавший под сизою тучей,
рядом с Зимним дворцом — луч ли солнца его так зажег,
или сам возле шпиля с корабликом вспыхнул, горячий?

Он летит вдоль Гвардейского штаба и аракчеевского особняка,
вдоль всей Мойки гуляет по плитам гранитным, истертым;
он у дома 12 свой бег замедляет слегка,
чтоб за вышедшим из дому взвиться веселым эскортом!

Он парит над мостами, Конюшенный двор огибает,
в Михайловский сад
забегает, скользя мимо выбоин всех и колдобин...
Он летит просто так — ни к кому, ни за чем, невпопад, —
но как сказочен он,
как он праздничен,
как бесподобен!

А вокруг наша жизнь — и владельца зовет «мерседес»,
будто малый ребенок: «уау, уау, уау»...
Двое пьяниц у Спаса — снежинкам, как манне с небес,
умиляются так, словно выпивки ждут на халяву!

И мозаики — блещут! И в ликах святых — торжество!
И деревья в саду расцветают, как люстры в театре!
И кавказец седой из-под кепки глядит на него —
ну совсем как тот Цезарь, вздыхающий о Клеопатре!..

Ах, такому бы снегу явиться пораньше чуток —
лет сто двадцать назад бы! — над царской каретой,
пред нею, —
и тогда Рысаков проморгал бы условный платок
и не смог Гриневицкий шагнуть с тротуара, бледнея...

И тогда вся История наша была бы иной!
Мы бы были иными, а вместо роскошного храма —
только б рой золотой, прилетающий каждой весной,
над мостом и каналом мерцал — и не весил ни грамма!..

Дивный снег иногда в Петербурге под вечер идет,
если Бог в небесах опорожнит мешок или ранец:
что-то есть в нем от счастья, которое рядышком ждет —
и меня, и тебя, и кавказца того, и тех пьяниц...

2002

Баллада для одиноких

Бог приходит ко всякому, кто жалок и одинок —
ко всем этим брошенным, чокнутым, отчаявшимся и прочим —
и от края бездны отводит, говорит что-то вроде:

— Сынок,
успокойся, ну что ты! — вот все, чем он может помочь им...

Даже, если не слушают, все равно говорит:

— Держись! —

Говорит, что давно приглядывался, что имеет виды...
Он ведь Бог, он ответствен за каждую жизнь,
и ему ни к чему все эти глупости и суициды...

Бог приходит ко всякому — во всякой беде.
Бог не может сказать человечеству:

— До свиданья!

Он для нас ведь и держит все мирозданье в узде,
и напрасно нам кажется, что рушится мирозданье...

Иногда он опаздывает и, глядя падающему вослед,
сокрушенно разводит руками:

— Какая жалость!

Но потом — гасит звезды и зажигает рассвет,
чтобы вся остальная жизнь продолжалась...

2001

Случай в Лохте

А. Комарову

— А в воскресенье в Лохте, мужики,
такое было!

О, такое было!

Мы с Лехой тестю правили сарай —
чинили дверь, меняли рубероид...
И вдруг — она! Вот так вот, как ладонь,
над Лисьим Носом — вжик! — и над заливом,
над самой дамбой, а потом назад —
как повернет!..

— Кто? Самолет?

— Да нет же!

Я ж говорю — она! Летит, мерцает —
то вверх, то вниз...

Тут Леха гвозди даже
рассыпал, дурень!

А из кухни тесть:

«Всё на столе, — кричит, — слезайте с крыши!» —
Ну мы слезаем, надо ж и поесть,
чтоб больше выпить! А она — все выше
и светится... А там — Кронштадт, закат...
Красиво так...

А тесть — уже поддатый
и огурцом соленым манит, гад!
И свет — как в огурце, зеленоватый...
— А дальше что?

— Как что? Сарай накрыт,

и тесть позвал. Пошли...

— Ну а ракета?

— А кто ж вам про ракету говорит?

Чтоб так летать... нет, не ракета это...

— Похожа-то на что? На шар?

— Едва ли...

Слышь, Леха,

что́ она — тарелка, шар?

— А я что, помню? Нас же — пить позвали.

— Вот, тесть всегда зовет, как на пожар!..

2002

* * *

*Гражданину Начальнику 24-го
отдела милиции Невского РУВД
от Левитана О. Н. — гражданина, с виду потертого,
но все же поэта, члена Союза писателей и т. д. —
на себе испытавшего описываемое явление*

ЗАЯВЛЕНИЕ

Это ж как, гражданин начальник, мы должны куролесить,
чтобы в таком количестве утрачивать свои паспорта
и — два раза в неделю! — устраивать очередь в кабинет
номер десять,
даже если дверь в него еще заперта!

И беда не в самой этой очереди — но в ее постоянстве,
в разговорах у двери вполголоса о кражах в транспорте
и грабежах...

А потом в заявлениях пишем о своей рассеянности
или пьянстве —
кто затейливо, кто с ошибками в падежах!

И — ни-ни криминала! — нам тут же шепнут многоопытно,
что не будет милиция защищать интересы каждого лоха,
что такие дела Вам расследовать трудно и хлопотно
и что с кадрами — плохо...

И сидит за той дверью девушка — старший инспектор,
зовут Мариной,
и когда перед нею присаживается очередной индивид,

она делает все, чтобы жизнь не казалась ему малиной,
то есть — делает строгий вид!

То есть хмурится так, что на лбу появляется складка,
и, читая вранье, головою сурово покачивает, но
ей так трудно все время быть по ту сторону правопорядка,
ей бывает — смешно!

И тогда по лицу у нее, как лучик, пробегает улыбка,
от которой она становится так хороша,
что в душе заявителя вдруг становится жарко и зыбко,
если, конечно же, у него есть глаза и душа!

Гражданин начальник, обращаю Ваше внимание
на возможность использования лиц указанной категории,
так легко поддающихся на женское обаяние,
для борьбы с преступностью на вверенной Вам территории!

Ведь когда со штрафным квитком он выходит из ее кабинета
и, похоже, уже не знает, куда идти — налево или направо, —
гражданин начальник, уверяю Вас, это —
наверняка растяпа или раззява!

А карманники, жулики и прочие хулиганы
вот таких-то как раз и высматривают, и в парадной
дают по загривку,
и в общественном транспорте лезут в сумки,
и подрезают карманы!
Значит, можно и нужно использовать нас — как наживку!..

И если по паре сотрудников с хорошей реакцией
и зреньем отличным
да послать вослед, приказав проявить сноровку, —
это ж сколько же можно различной сволочи взять
с поличным,
улучшая в районе криминальную обстановку!

Ну а если у вас, гражданин начальник, остается еще
сомнение,
что все дело вот так, как написано мною, и повернется, —
вы зайдите к Марине и дайте ей прочесть мое заявление
и увидите сами, как чудно она улыбнется...

2001

Портрет с заколкой

Заколка-бабочка, уж так ты хороша
в руке хозяйкиной — для ласки на ладони
расправив крылышки, — и к пальцам льнешь, шурша,
и обмираешь вся при качке и наклоне.

Ну что ты, глупая, ей и самой, пока
портрет рисуется, не скучно любоваться
твоими складками — поглаживать слегка,
краев оборочек батистовых касаться.

Совсем как девочка играет, ну и ну!
Шепчу ревниво ей:

— Брось, на меня взгляни ты!

Я тоже трепетный, дай я к тебе прильну!
Нет, медлит, тешится, и губы приоткрыты...

Заколка-бабочка, так жалок твой испуг —
во тьме, на столике, гадая, что приснится
к утру владелице — а вдруг разлюбит, вдруг
иным пред зеркалом прообразом пленится!

А вдруг — стекающим по дивному плечу,
роскошным, плещущимся, рыжим водопадом
решит пожертвовать! «Куда я полечу? —
тоскливо думаешь. — Чьим буду я нарядом?»

Но вот над скрученной, прижатою волной
ты планкой клацаешь — как шавка из батиста!
И женщина становится — иной.
Тут нужен дар другого портретиста.

2001

Апокриф

Вот апокриф старый...
Полицейский пристав допрашивает юнца
и, окинув взглядом фигурку студента Ульянова Вовы,
укоряет отечески, убирая суровость с лица:
— Молодой человек, посягаете на основы!

Мол, всему нигилизму вашему — грош цена!
Мол, стена ж перед вами, батенька, что ж даром
в тюрьме-то чалиться!

А Ульянов ему отвечает с вызовом:

— Стена-то стена,
да прогнила вся, ткните пальцем, она и развалится!..

Чудный, чудный апокриф — потом их напишут тьму!
Но когда бы все так и было, допустим, тем более —
как же он сохранился, кто о нем рассказал и кому,
чтобы так хорошо запомниться для истории?

Неужели сам пристав в участке потом разболтал спьяна —
и чинам, и филерам, и жену тормозил под утро:

— Слышь, Аглая!

Тут вчера на допросе скубентишка мне говорит: «Стена, —
это он про державу-то мне говорит, — гнилая!..»

Или это Ульянов потом соратникам вспоминал сто раз:
— Вы бы видели гошу пгистава! — и в улыбке щурился,
светел. —

И тут я ему как ответчу не в бговь, а в глаз,
мол, гнилая стена, ткни, газвалится, так и ответил!

О, какой поразительный хрестоматийный пример!
Он вождя биографии придает возвышенность

и приятность...

А вот приставу стыдно трепаться: не принявший строгих мер,
он — слуга закона! — проявил историческую халатность.

Полагаю все же, что — и пристав с компанией, и его мадам
ни при чем, ведь в Казани нравы простые (чай, не столица!),
и студент, если что на допросе и брякнул, то услышал:
— А по мо-р-р-дам!..

Вот что помнится долго, но об этом не говорится...

2002

Слова

В переходе подземном от Сорок второй стрит
к Таймс-сквер
над людскою рекой, на бетонных балках пролета,
я прочел: *Get tired?* — как будто из вышних сфер:
«Умотался, устал?» — кто-то спрашивает кого-то.
И еще через десять метров: «Проспал?» (*Sleep leit?*)...
И опять через десять: «Уволили, да?» (*Got fired?*)...
У стены музыканты играли на паре флейт,
подтверждая печальным блюзом, что так бывает...

От подобных намеков и впрямь очень грустно жить!
Дайте лестницу нам, абразивный круг или шпатель!
Но виднелось следом: *Why bother?* («Зачем тужить?»)...
Why the pain? — чуть дальше
(«К чему эта боль, приятель?»)...

И строка *Go home!* — на виски или портвейн,
чтобы дома напиться, намека не означала,
потому что последним написано было: *Do it again!* —
что по-русски звучит очень просто: «Начни сначала!»

И идут ньюйоркцы —
спокойной большой толпой,
во всю ширь и даль заполняя тоннель просторный —
работяги,
студенты,
клерки,
еврей с кипой
и примкнувший к ним невзначай ваш слуга покорный...

Чернокожие, белые, желтые — всем гуртом...
К пересадке — прямо, направо — к дневному свету.
И тоски я не видел на лицах, ни на одном —
словно все с утра уже следовали совету!..

2003

Нью-Йоркская сакура

Если б «как тебе здесь живется?» — ее спросили,
на колодец дворовый глянув, вздохнет она:
— Хорошо живется, — ответит, — не как в России...
А всего-то хорошего: в город пришла весна.

И с работой сложности, и с грин-картой волокита,
и от сына-подростка внимания даром ждет.
— Может быть, в выходные мы в Бруклин съездим, Никита?
Говорят, в Ботаническом сакура расцветет!

А ему до лампочки все эти чудо-вишни!
Что в России, что здесь — дети это такой народ...
Он уже весь в друзьях и в делах, отвлекать излишне —
у него глаза нараспах для других щедрот...

Лидер в классе школьном — контактный такой и умный!
И конечно в субботу занят, ведь лучший френд
пригласил его за город...
— Мама, ну ты подумай!
Мы в Нью-Джерси с компанией едем на уик-энд!..

И уже голосок по-мужски басовит и звонок.
И проходит неделя. И снова, как в пустоту:
— Ну хоть день один не беги от меня, ребенок!..
В новостях сказали: сакура вся в цвету...

Да куда там — у мальчика с девочкою проблемы!
И глаза круглы от влюбленности и тоски...

И махнула рукой, ведь такими бывали все мы.
...В воскресенье поехала — потрогала лепестки.

Надышалась в аллее. Так розово там и мило...
Но для счастья надо чуть больше — не быть одной.
Заглянула к лотосам. Рыбок в пруду покормила.
И так грустно стало — кончается выходной....

И опять — на работу в Бронкс и домой с работы...
На газоне у дома белка желудь берет с руки.
И никто не скажет: «Ну ладно, ну что ты, что ты...»
А друзей здесь нету. А прежние — далеки...

Соберется в прихожей у зеркала: «Что это я, в самом деле!»
Тут и сын о ней вспомнит, предложит из-за стола:
— Мам, давай в Ботанический съездим в конце недели!
И она заплачет:
— Сакура отцвела...

2004

Бейсбол

Этот выпивший негр душу, родственную вполне,
угадал в Чайна-Тауне — в сотнях людей идущих...
И когда поравнялись мы с ним, обратился ко мне —
я и был выпивающий в пестрой толпе непьющих!

Я повздорил с сыном, и, видимо, я был зол,
и водил слишком долго глазами по рекламному стенду.
Он спросил:
— Что ты думаешь, парень, о вчерашней игре в бейсбол?
И напрасно я с ходу сказал:
— Ай ду нот уандерстенд ю! —

Потому что, вспылив и ладонью толкнув в плечо,
он — как уличный проповедник,
вдохновленный божьим законом, —
возопил, воззвал (как лучше сказать еще?)
и уже мне в спину, ярясь, взревел геликоном!

Я в английском слаб и за русское слово «жид»
понапрасну принял, в толпу ретируясь быстро,
раз а три в тех воплях звучавшее слово — sheet!..
Оказалось, я просто обидел старого бейсболиста!

Но китайцы шарахались, чуя, какую струну
я задел в человеке черном, — и эхом неслось за нами:
«Ты не смыслишь в бейсболе, приехав в мою страну,
за которую я подставлял свою задницу во Вьетнаме!»

Он гремел, возвышаясь над всеми, как черный шкаф,
он честил меня — полной бестолочью и уродом!
Мой смысленный сын, утачив меня за рукав,
с полквартала еще услаждал прямым переводом...

Лишь потом я понял, в чем суть истории сей!
Этот выпивший негр мне, как мог, объяснить старался:
«Будь, как мы, если ты собираешься жить в Ю-Эс-Ей!»
Впрочем, я и не собирался...

2004

Парк Форт Трайон

Вот вам парк манхэттенский с видами на Гудзон —
на гранитных скалах деревья с листвою сочной,
всюду белки скачут, скворцами обжит газон...
И ни с чем другим не сравним парадиз цветочный!

Ароматный рай — лепестков и стеблей уют...
Он любого от входа к себе привлекает разом.
И садовник местный (иль как его здесь зовут?)
развлекает зевак достижений своих показом...

Он в джинсовом комбезе, совсем не старик еще,
Он здесь как домовый — все названья и тайны знает.
Гладит белку, нахально взбегающую на плечо,
и с газона скворцов мановеньем руки сгоняет...

Говорит:

— В этих флоксах живет, как в отеле, шмель!
Подошел, качнул — и ведь впрямь зажужжал мохнатый,
никого не тронул, лениво поплыл отсель —
переждать в тени между львиным зевом и мятой...

— А вот этот красавец, чей запах так сладок и густ,
на сирень похожий, — мечта всех бабочек в парке!
Он зовется буддлея, по-нашему — бабочкин куст.
Ишь, как липнут к соцветьям — огромны, пестры и ярки!

А вон те колокольчики — к нам из Мексики прямиком!
Берегли их всю зиму, боялись, чтоб не погибли,

а когда расцвели... Вот, всмотритесь — кто над цветком?
Все воскликнули:

— Ва-у-у! — ибо это была колибри!..

А садовник смеется — он сам здесь десятый год!
До сих пор не в силах избавиться от удивленья,
что так много чудес от простых зависит забот —
от полива, подкормки, мульчирования, рыхленья!

— Даже крона дуба, вон там, за сосной, правей
(чуть подвиньтесь, мистер, а то не видать детишкам!),
где курчавое облачко дремлет среди ветвей...
...Я подумал: «Облачко — это, пожалуй, слишком».

2005

В подземке

По вагону с дальней стороны,
абсолютно схожий с шоколадом,
приспустив до копчика штаны,
ходит негр, поигрывая задом.

Он с улыбкой, но не идиот.
Он танцует, но не извращенец.
Он скорее как поэт — он ждет,
что его заметят и оценят.

И народ весь едет, как во сне,
с неким пониманьем и смущеньем!
Лишь мулатки в ближней стороне
на танцора смотрят с восхищеньем...

Думаю, что в нашем бы метро
он такого б не имел успеха,
не одно вскипело бы нутро,
в ухо сразу б кто-нибудь заехал!

Знающие люди скажут тут,
что при всех нью-йоркских достижениях —
эти негры так себя ведут
в память о межрасовых сраженьях!

Это было много лет назад.
Это ненормально, но и только.
Копов пес вцепился в чей-то зад...
Но зато теперь — нормальных сколько!

Ходит негр и, чувствуется, рад,
что в его движениях есть эффектность —
будто предъявляет шоколад
для проверки на политкорректность!

А блондинки в розовых очках,
и хасиды в шляпах, и «латинос»,
прячут взгляды — в книжках, в рюкзаках...
Ну тогда — я тоже отодвинусь!

2004

Рома

По ночному хайвею, сквозь дождь с замашками водопада —
через весь материк на автобусе в штат Колорадо —
едет Рома жениться, чтоб сделать на жительство вид...
Он полгода назад в Новый Свет сбежал из Ташкента,
где в торговой сфере был не последним кем-то...
— Там Каримов, мафия, жить нельзя! — говорит.

— Перестал делиться — подсунули в стол наркотик... —
И в оживший мобильник воркует: — Ну что ты, котик,
что, какие бабы, ну брось! — и на кнопку жмет.
И на новый звонок:

— Я дня на три, по делу, Галка! —
Объясняет мне, что она почти нелегалка,
с гостевую визой кантуется третий год...

А я — Ромин попутчик, в соседнем ряду усажен,
я в Чикаго еду, к друзьям, чересчур отважен,
языка не знаю и, слыша родную речь,
рад беседе с ним — и киваю, как простофиля,
и себя ощущаю почти внутри водевиля —
кроме жизни чужой, сутки нечем себя развлечь!

А он весь уже там — в Колорадо, в лесной округе,
где живет индеанка некая, мечтающая о супруге...
(Кореша на сайте знакомств нашли адресок.)
И все мне твердит:

— В Штатах главное, зацепиться! —
мол, уже где-то в Бронксе успешно торгует пиццей,
но пока нет грин-карты — и выбор не так высок...

И все пахнет вчерашней пиццей своей и пьянкой...
Я спросил:

— Ну а вдруг не получится с индианкой?
И лишь зуб золотой мне в улыбке блеснет с высот:
— Поживем-поглядим, ведь с узбечками получалось!
...Я в Чикаго сошел на землю. И жизнь умчалась.
И зачем-то думаю: «Пусть ему повезет...»

2004

Тормоза

Я сперва не поверил своим глазам,
но водитель ударил по тормозам —
впереди во мраке белела майка,
не спеша проплывая через бульвар,
даже надпись видна была в свете фар
на нагрудной части: / LOVE JAMAICA!..

А потом над майкой лица овал
сам себя из мрака нарисовал,
на щеках пропечатался потный глянец,
а потом — чернея в белке — глаза,
следом весь — машине пальцем грозя! —
подгулявший афроамериканец.

И водитель — мой питерский друг, еврей —
лишь махнул рукою:

— Иди скорей!—

и вздохнул:

— Привык за четыре года...

Перехода нет, а сбивать нельзя!

Здесь за это судят, не тормозя,
а за негра — точно: прощай свобода!..

Чтоб утешить его в тишине ночной
я сказал:

— В чем дело, айда со мной,
через месяц вместе вернемся в Питер!
И умолк мой друг, головой потряс,
будто вспомнил что — и нажал на газ...
И рукой со лба капли пота вытер.

2004

На выставке Эль-Греко

На картине Христос изгоняет торговцев из храма...
Он в багровом хитоне, он в гневе, он в бешенстве прямо!

И почти не касается пола, но очень здоровый!
Вот и бич у него, на прикидку, почти трехметровый!

А торговый народ с покупающим всем населеньем,
от бича разбегаясь, глядит на Христа с изумленьем.

Старики головами качают: «Нельзя же так в Храме!»
Дети плачут. Корзину затопчут вот-вот с голубями!

У хозяйки корзины — бедро обнажилось и груди!
Тут уж не до приличий, ведь свалка — пугаются люди!

Тут уж точно все мысли должны быть совсем не о Боге...
И представить такое нельзя ни в какой синагоге!

Ох и темный же это момент из евангельской сказки —
это ж повод прямой к предстоящей ужасной развязке!

Ведь «Распни!» — закричат, вспоминая тот бич и толкучку...
Но Эль-Греко оставляет нам зрителей кучку:

это учителя его — слава и блеск, что ни имя!
Он и сам, молодой, скромно с краю стоит рядом с ними.

И, похоже, по теме картины и Божьего лика
Тициан говорит благосклонно: «Не дрейфь, Доменико!

Ты растешь на глазах, есть большие подвижки в колоре!»
Микеланджело хмур — он соперника чует в сеньоре.

Тихо Джулио Кловियो шепчет: «Всмотрись в человека!»
И вослед его жесту — на нас обернулся Эль-Греко...

2004

Собаки

В Нью-Йорке всякая собака,
гуляет — ангелу под стать!
В ее глазах не видно мрака,
а лишь покой да благодать.

Она причесана, умыта,
она шагает налегке,
за ней хозяева как свита —
с пакетиком и при совке!

Ее рычать не приневолишь
в довольстве за судьбу свою,
и «гав!» ее звучит всего лишь —
как те же «how!» и «how are you!».

В ней столько внутренней свободы,
что никогда нигде ей вслед
насчет осанки и породы
никто не выскажется, нет!

Ее — ни-ни, чтобы обидеть!
Вы что? О чем, простите, речь?
Закон велит собаку — видеть,
ласкать, ухаживать, беречь!

Не потому ль ньюйоркцев лица —
еще милей, чем у собак?
А вот у нас, как говорится —
увы, но все еще не так...

И если в парке, пасть раззявив,
на вас овчарка глянет зло —
глядеть излишне на хозяев,
там тоже морда иль мурло!

Вот и от тети с бультерьером
держаться лучше в стороне,
ей бобик служит револьвером —
он может выстрелить вполне!

И остальные все дворняги
взгляд не порадуют, дрожа —
у ног бабули-бедолаги
или похмельного бомжа!

И говорят собаки наши,
что им живется нелегко
и что от пайки и параши
мы все ушли недалеко...

2005

Брайтон-Бич

Записал случайно случайный наш разговор,
диктофоном купленным хвастаясь, и осталась
на кассете запись, слышная до сих пор...
Звук шагов. Два голоса. Вот что там записалось.

Ты сказала: «Останься с нами, здесь можно жить, —
и запнулась, сбившись, и справилась, продолжая, —
надо просто обдумать, и взвесить, и все решить...»
Я ответил: «Здесь жизнь прекрасная, но чужая...»

Проповедник-негр (их в Нью-Йорке много!),
запавший в транс,
где-то рядом вопит о всесилье библейских истин...
Ты сказала: «Но это твой единственный шанс...»
Я ответил: «Плохо, что шанс, да и тот — единствен...»

Я сказал всерьез: «Мое место не здесь, а там.
Кем себя ни считай — все равно это будет бегство.
Как же я о себе — хоть кому! — так подумать дам?» —
и хохочет чайка, случайно попав в соседство...

Даже чайке смешон этот выпененный старый хрыч,
торопящий слова о причастности к жизни, о чувстве долга?..
...Каблучки твои звонко цокают по набережной Брайтон-Бич.
А она — дощатая, гулкая — слышно долго...

2005

Капибара

В дебрях Бруклинского ZOO есть питомица одна —
с мордой суслика большого, с круглым телом кабана.

По лужку бредет лениво, от жары ныряет в пруд...
И так дивно это диво — капибарою зовут.

Хорошо здесь капибаре — тут корытце, там лежак.
Позовут — подходит к паре заглядевшихся зевак.

Ишь, как смотрят, мол, как рады — эта women, этот man!
И совсем себе награды с них не требует взамен.

Поведет крутой ноздрею и отправится назад...
До сих пор ночной порою снится мне тот карий взгляд.

Снится край земного шара — этот ZOO, этот зной...
Капибара, капибара, что ты делаешь со мной!

Твое чудное явленье третий год в душе ношу.
И сейчас в стихотворенье об одном тебя прошу:

если та, что там со мною летним днем была в тот год,
вновь к тебе порой дневною ненароком подойдет —

повернись лохматым брюхом иль по кругу пробеги,
почеши себя за ухом трудным способом ноги!

Даже если зной начнется — подойди к ней от пруда!
Пусть увидит, улыбнется — как со мною, как тогда....

И, улыбкою согретый, улыбнусь и я судьбе.
Я грущу о women этой. Я вздыхаю о тебе.

2006

Щенок

Этот черный щенок был как посланный казачок —
к магазину на даче подкинутый в это лето...
Подбежал и прильнул ко мне, выбрал хозяина, дурачок!
Но зачем и кто мне послал испытание это?

В электричке молчал, на соседей глядел, как граф,
но потом, близ метро, лай собачий услышав в парке,
он из сумки моей вдруг ответил басистым: «Гав!» —
О, вы видели только б растерянность той овчарки!

И потом — сколько раз обмирала моя душа,
когда он грыз книги и нагло трепал тетрадки!
И глядит с подстилки, как Гриня на Бурнаша,
ни малейшей вины не чувствуя в беспорядке!

Никого не боялся — с ротвейлером к носу нос!
Тот с ощеренной пастью — на пару с владельцем дюжим!
Но уже через миг играют — щенок и пес,
и с хозяином мы — улыбаемся, курим, дружим...

Он и умер играючи — слишком уж был живой!
За обрывком газеты помчался веселым бесом
и догнал, придавил — на совсем пустой мостовой! —
и на фары далекой машины взглянул с интересом...

А она — иномарка! Все гуще, все ярче свет!
Тормозов ей жалко, и ряд поменять — ума нет!
...Много в небе вечернем осенью звезд и планет,
ни одна из-за бобика падать в траву не станет.

2008

Соловей

Щелкая и чмокая всю ночь,
соловей поет о жаркой страсти —
так что куст шатается, точь-в-точь
как безумный, от такой напасти!

А вослед другие соловьи —
не таясь, признаться в чувствах рады!
А поэты пишут о любви —
больше от тоски и от досады...

Господи, прочти хоть у кого —
где же эти радостные вопли?
Эти «ах!» и трепетное «О-о!»...
Нет, все больше — вздохи или сопли...

Отчего ж о счастье без затей
не поем, пока оно в избытке?
Отчего в густом меду страстей
вязнут даже слабые попытки?

Я мечтал порядок изменить!
Я влюблялся, может быть, затем лишь,
чтобы страсть словами оттенить
и объять, как Ты весь мир объемлешь!

Но и я был звучен лишь сперва,
и гортань пересыхала скоро!
А когда опять нашлись слова —
и для соло слабо, и для хора!

Господи, ну что ж Ты, как назло —
вовремя не дашь воспеть реальность?
Ведь когда остыло и прошло —
все не то — и голос, и тональность!

«Впредь тебе наука!» — хмуришь бровь...
Но скажи мне, Господи, а ну-ка:
для чего ж тогда Ты шлешь любовь,
если в ней — такая лишь наука?

2008

Письмо чужой подружке

Ты была с любовником тверда,
говорила грустно, но сурово —
что пора расстаться навсегда,
что выходишь замуж за другого.

Мол, поскольку с ним в твоей судьбе
ничего не светит, муки кроме,
срок пришел подумать о себе...
Ты сказала: «Поздно пить боржоми!»

То-то он и мне, приятель мой,
с этой тусклой новостью несносен —
меж тобой, бедняжкой, и семьей
третий год плутает, как меж сосен!

Говорит: «Расстались, баста, ша!»
Но послушай, тут такое дело:
я-то вижу, где его душа,
дурочка, остаться захотела...

Ты уж ее, глупую, гони,
чтоб не шлялась по твоим пределам,
ты уж ей, наивной, объясни,
что негоже расставаться с телом.

Не мешай, скажи, моей судьбе,
не следи за мною, сделай милость!
Больше не обломится тебе
более того, что обломилось...

2008

Баллада для двоих

У нее со здоровьем все время одни напасти!
То спина заболит, то сердце, то набегаются на морозе —
вот уже и ангина; не женщина, а несчастье!
И хандрит опять, в самый раз при таком хондрозе!

И приходит он — под хмельком, и ботинки в глине.
Снова шлялся где-то и якобы с другом Сашкой!
И напрасно он ей с порога рассказывает, что при ангине
помогает водка, а также шалфей с ромашкой!

И уже намечается ссора — у всех же нервы!
И игра в молчанку как минимум до рассвета!
Я не знаю, как в этом случае выкручиваетесь, например, вы?
Но послушайте, что он ей говорит на это.

— Вот и мне, — говорит, — хоть с болячкой готов любую
совладать легко, со здоровьем одно мученье!
Потому что болен давно и тяжело одной тобою
и уже не знаю, возможно ли излечение!..

Никогда не знал чудеснее карантина,
дай мне руку, и сразу все мысли мои — в цейтноте!
И вся жизнь за дверью — тоска, суета, рутина,
ты и там звучишь в моем сердце на верхней ноте!

Как же жил я раньше, симптомов таких не зная?
Об одном прошу: не растай, прошу, не исчезни!
Видишь, жар у меня, ты — прохлада моя лесная!
А других лекарств и нет при такой болезни...

2009

Композитор в Крыму

Леша Мыльников входит в воду, как со стапеля верфи
крейсер,
и вскипает Черное море перед мощной его фигурой,
и скрывает от взглядов женских с ближних к нам лежаков
и кресел,
и кильватерным следом вьется за седой его шевелюрой...

Я его догонять не лезу — ни с охотой, ни с чувством долга!
ибо мы с ним вчера поддали, и полнеба сегодня в тучах,
и к тому же он плавать любит далеко и довольно долго,
и к тому же медуз полно там — круглых, скользких
и очень жгучих!

И пока я сижу на пляже, стиховой пробавляясь строчкой,
три часа сторожа уныло полотенце его и тапки —
наблюдаю из-под ладони за далекою белой точкой...
Иногда и совсем не вижу, и тогда мои мысли — зябки!

Нет, наверно раскинул руки и глядит в небеса, ощерясь —
никакого ему похмелья, никаких размышлений трудных, —
то ли слушает музы голос, моря Черного звон и шелест,
то ли их уже переводит — на язык духовых и струнных

Мне не важно, с какой Эвтерпой он сейчас там
беседы водит, —
пусть скорее плывет обратно, удивительно мне не это...
Как, откуда таким счастливым он на берег из волн выходит
с совершенно готовой темой для дуэта или квартета?..

И пока мы идем до дома, он ворчаний моих не слышит — потому что он композитор, ну а я-то поэт всего лишь... Листик нотный из папки вынет — и рисует значки, и пишет. —Леша, выпьем?

— Потом, я занят. —

Против этого не поспоришь.

Колокольчики

Да простят меня люди верующие и неверующие извинят:
на Валдае чудес немеряно, вы их встретите неизбежно...
А в селении Мшенцы ангелы колокольчиками звенят —
и так трогательно, и так трепетно, и так нежно!

Я и сам изумлялся, слыша их — и у этой избы, и той!
И у той, в иван-чае тонущей — то едва-едва, то слышнее...
А еще здесь ключи, как омуты (говорят, что один — святой)!
И старинная церковь высится, и поповский дом рядом с нею.

Эти Мшенцы — деревня бывшая, не поймешь уже, чем жива:
избы, крытые старой дранкою, вряд ли чиненные лет двести...
Перетерли деревню в крошево века прошлого жернова:
две-три бабки да пять-шесть дачников — вот все жители
в этом месте.

Но, похоже, и здесь меняется жизнь убогая на глазах —
подступает пора духовности, наступает конец безверью!
Вот и церковь, спасибо батюшке, оживает, стоит в лесах,
и туристы спешат к источнику, где часовенка над купелью...

Может быть, от усердия этого и наладятся здесь дела?
Не о том ли и колокольчики так играют, поди узнай-ка!
Но тут дождик случился затемно — наша крыша и потекла...
Попутру подсобить с починкою попросила меня хозяйка.

И полез на чердак заброшенный я по лесенке приставной,
вижу ключья соломы сгнившие, рухлядь всякую посередке;

сквозь дырявый фронтон полосками льется с улицы
свет дневной,
и вся дранка прибита гвоздиками к доскам треснувшим
обрешетки...

И когда вновь нежная музыка зазвучала вокруг и над —
не готов повторить я письменно то, что чуть не вымолвил
устно! —
ветер в щели подул, и гвоздики все — шевелятся и звенят...
Чудеса не бывают долгими, долго может быть только грустно.

2010

В метро

На «Удельной» ты сядешь в метро
и — под рокот соседней беседы
задремав — полетишь, как ядро,
в направлении «Парка Победы».

А напротив — девчоночий лик,
то ли едет она, то ли снится.
Ты на «Невском» очнешься на миг,
а на месте девчонки — девица.

Та в веснушках была и юна.
Эта в блеске косметики броской.
А на «Фрунзенской» глянешь из сна —
едет женщина с полной авоськой...

Двери хлопнут, проедут огни,
сквознячок пробежится по коже —
и подумаешь вдруг, что они
друг на друга — все трое — похожи.

И привидится вдруг в твоём сне,
что вот так, если вдуматься здраво,
и мелькает вся жизнь — как в окне
струны кабелей слева направо,

что, пока ты в дремоте витал,
жизнь свою продремал ты, беспечный...
И скрежещет колесный металл —
на краю остановки конечной!

Тут ты вздрогнешь, мотнешь головой
и ресницы раздвинешь — и точно,
вон старуха сидит пред тобой,
все в морщинах лицо и отечно...

А уж больше и нет никого.
Знать, и впрямь — окончанье маршрута.
И в стекло на себя самого
страшновато взглянуть почему-то...

2001

Содержание

Морские сны

Остров Буян	5
Кладбище судов	6
Портрет рыбака	7
Корректор штурманских пособий	9
Нулевой меридиан	10
Море	11
Айсберг	12
Первый трал	13
Перед утренней вахтой	15
«Не спали Рекс и капитан-директор Волков...»	16
Промысловая баллада	18
Акула	20
Монолог рыбака	22
Фамилия	23
«Когда шторма швыряют судно...»	25
«Процессы облакообразования...»	26
Волна	28
Баллада о лошадях острова Сейбла	30
Баня	31
Явление природы	33
Вельбот	35
Мертвый штиль	38
«Луна Бристольского залива в сентябре...»	40
Кот на траулере	41
Элегия	42
Эльсинор	43

Возвращение

«Тихо. Грустно. Я один...»	51
Вид из окна	52
Ночью	54
«Деревья — как люди: в ненастное время печальны...»	56
Осенний сон	57
Первый снег	59
«Иней на окнах. За ними мороз...»	60
Кот	61
Омар	63
Визит	65
Гомер	67
Плафон	69
Шкаф	70
Посещение южного рынка	72
Двое	74
Собака	75
«— Пей чай, остынет! — нет, не слышит...»	76
«Так в детстве было хорошо...»	77
Парк Сосновка	78
«Снова два монолога...»	80
«Заглянул во вчерашнее — встретил развал...»	81
Под вечер	82
Гусь	84
«Помнишь, ночь была на свете?...»	85
Строка	86
«Соратница, сородич по перу!...»	87
Амур	88
«Ты скажи мне, зарядочка, что ты, о чем это ты...»	89
«В лесу на нижнем этаже...»	90

Тихий час в пионерском лагере.....	91
Мичман.....	93
«Худенькая — локти да ключицы...».....	95
Застолье.....	97
«Скворец поет запоем — и когда!...»	99

Взгляд

«В хороводе и на карусели...»	103
Зимняя баллада	104
Свитер.....	105
Чайка.....	106
Сны.....	108
«О, если б слякоть, или дождь...».....	109
Теплые дни в октябре	110
Фонтан	112
Архимед.....	114
«Я вспомнил номер автомата...»	115
«Девятнадцатый век — он как будто...»	116
Ломбард	117
Баллада о двух поэтах	119
Хвостов.....	121
Дождь на Литейном проспекте	123
«Воробей-разбойник засвистал...».....	125
Комарово.....	126
«Вот женщина. Вот комната ее...»	127
Портрет художника.....	128
«Третье лето, махнувши рукою на юг...»	130
«В электричках утром теснотища...»	132
«Художник, штурман, инженер...».....	134
«Распрощавшись с вокзальной Москвой...».....	136

«Выходит в тамбур человек...»	137
Тюльпан	138
Возвращение	140
Книжный киоск.....	141
«Укачало девчонку — страдает, оставлена всеми...»	142
Баллада о живой воде	144
«Дивный нечаянный праздник верша...».....	145
Яблочное место	146
Карась.....	148

На берегу

Гость.....	151
Баллада о собаке	152
«Ребенок любит мать, и льнет, и обнимает...»	154
Дар	155
Баллада о Левке	157
«Эмиграция — это как аэростат...».....	161
Фонарь.....	163
Трамвайная баллада.....	165
Сорока	167
Стол	168
Миша	170
Разговор с инспектором угрозыска о поэзии	172
Баллада о пластиковом пакете	176
Про жизнь	178
Баллада о чуде	180
«Привычка дивная — умение “на вы”...».....	182
Дядя Витя.....	183
Ломоносов	185
Балада о паводке	187

Воспоминание.....	189
Париж.....	191
«Поэт, затерянный в полночной тьме, как Бог...».....	194
Домашнее сочинение.....	196
Мойка, 12.....	198

Дорожное эхо

На семейную тему.....	201
Письмо в Штаты.....	203
Снег.....	204
Баллада для одиноких.....	206
Случай в Лахте.....	207
«Это ж как, гражданин начальник...».....	209
Портрет с заколкой.....	212
Апокриф.....	213
Слова.....	215
Нью-Йоркская сакура.....	217
Бейсбол.....	219
Парк Форт Трайон.....	221
В подземке.....	223
Рома.....	225
Тормоза.....	227
На выставке Эль-Греко.....	228
Собаки.....	230
Брайтон-Бич.....	232
Капибара.....	233
Щенок.....	235
Соловей.....	236
Письмо чужой подружке.....	238
Баллада для двоих.....	239

Композитор в Крыму.....	240
Колокольчики.....	242
В метро.....	244